

Он приближается ко мне вроде крадучись.
Что-то от охотника, напрягающего свой слух и зрение.
На голове фуражка с малиновым кантом, на отворотах гимнастерки малиновые нашивки, значок ГТО на груди.
Круто уперся в пол и уставился исподлобья.
„Раздевайся!“
„Раздеваться?“
„Потом будешь разговаривать, раздевайся“.
Раздеваюсь, бросаю вещи прямо на пол, и вот уже стою нагишом, придвинулся вплотную к столику. За столиком совсем молоденькая женщина сумрачно косится на меня и даже как-будто стыдится.
„Фамилия ваша?... имя, отчество?... Вы какой национальности?... еврей?... Адрес какой?... Дом какой?..
„Дом четыре-шесть, квартира семнадцать“.
Ее лицо еще строже стало:
„У меня все с вами!“
Оглядываюсь на него.
Он прощупывает обувь, выворачивает рукава, карманы, откладывает в сторону пятьдесят рублей, блокнот с телефонами друзей и знакомых, спарывает подкладку, срезает на брюках металлические пуговицы, крючки, пряжки...
Вдруг ко мне: „Вытяни руки!.. Ну, чего дрожишь?“
Силюсь успокоиться и вижу, как женщина губы кусает, чтоб не рассмеяться.
Вытягиваю руки. Он прищуривается: „Рот открой!..Ну, шире!“
Пальцами лезет в рот, ищет чего-то.
Руку отставил и выгнул кверху.
„Повернись! Ноги раздвинь! Раздвинь задний проход! Не понимаешь?... Руками раздвинь!“
„Ну, одевайся!“
Обалдевший, одеваюсь, и пока перепоясываюсь полотенцем, откуда ни возьмись, молодцеватый крепыш передо мной наготове.
Он берет меня под руку и выводит в коридор.

выражаю глубокую благодарность Эстер Ломовской-Мостковой за спасение рукописи этой книги.

„Ну, теперь давай, шагай!“

Теперь шагаем от двери к двери, от комнатухи к комнатухе, до полного одурения.

Узел затягивается: фотографируют в фас и профиль, отпечатывают пальцы, измеряют рост, отличают цвет глаз, волос.

Еще торопливей шагаем по коридору „сабашника“. Позднее узнал, что так прозвали подвальный этаж внутренней тюрьмы — перевалочный пункт приема арестованных).

„Ну, теперь стой!“

Остановились у камеры номер семь.

К нам подходит коридорный надзиратель.

„Принимай!“ — буркнул крепыш.

Скрипит обитая жестью дверь и приотворяется.

Меня легонько толкают в камеру.

Сам не знаю зачем, одной рукой цепляюсь за дверь, в другой руке узелок со сменой белья, мылом и зубной щеткой.

У стены на табуретке недвижно сидит военный с небритыми ввалившимися щеками, в измятой, со споротыми петлицами комсоставской гимнастерке. Он поворачивает ко мне голову.

„Размещайтесь!“ — говорит он глуховато.

Я гляжу вокруг: — Три застланных койки, везде на подушках наволочки чистые; у каждой койки по тумбочке и даже воском натертый паркетный пол.

Я присел на койку:

„А вы тут давно?“

„Недавно. Вчера привезли с Дальнего Востока“.

„Что же, собственно, за что?“

Брови резко сдвинулись: — „Не знаю, за что“.

Поглядел перед собой, уткнулся в пол, и ни слова больше.

Сидит недвижно, расставивши ноги, низко наклонив голову, будто бы меня и нет вовсе тут.

Вдруг приоткрылась дверь.

Еще гость.

Улыбается, обветренный, в засаленных, вроде кожаных, ватных брюках и в такой же телогрейке и бушлате. На ногах из-под валенок — разноцветные грязные портянки. В руках вещевой мешок. Окинул глазами камеру, стал разбираться. Снял шапку, бросил на койку вещевой мешок, снял бушлат, телогрейку, отряс их, бережно свернул и уложил под подушку. Сбросил валенки, портян-

ки, обтер портянкой ноги. Руки потянулись к тумбочке. На тумбочке пачка „Бокса“. Протянул ее соседу, а тот отчужденно:

— Нет, благодарю... С утра не пью и не курю никогда.

Протянул пачку мне. Я закурил. Мне тревожно. А он, покачиваясь на койке, опять улыбается.

„С кем имею честь?“

Я называю себя.

„Очень интересно. А теперь, пардон, о себе: инженер Менделеев! Согласно решению тройки — вредитель. Это не передать сразу... Ну, даже невозможно всего перечислить. Держали год на общих работах. Попадают и там хорошие люди: начальник разрешил жить за зоной. Работал по специальности. А потом приехала московская комиссия. Всех, кто был по специальности, в штрафную колонну, а некоторых — в центральный изолятор...

— А вас?

— А меня из Ухты сюда. Откуда начал, обратно сюда. Каждый раз, как артист — куда деваться? — снова выходишь на сцену.

— Какая ж в этом цель?

— Цели не вижу. Но, по всей видимости, есть свой смысл. Может быть, новый подвох.

— Что же хотят с вами делать?

— Кто их знает!

— Ну, а вы как?

— Очень рад. По отношению к тому, что там было, — небо и земля.

Хоть все сказанное и звучит правдиво, но почему-то не хочется больше расспрашивать инженера Менделеева о его тамошней жизни. А он, втянув голову в плечи, делает вид, будто и сам хочет помолчать. И все же ловлю на себе его общительный взгляд. Вот он с жадностью затянулся, притушил папироску и негромко произнес:

— Можно еще сказать и так: здесь лучше, но не очень хорошо.

По-детски посмотрел на меня:

— Тоскуете?

— Тоскую.

— А я разучился тосковать.

Неожиданно щелкнула задвижка, в дверях открылась маленькая фрамуга.

Надзиратель протянул жестяную миску.

— Принимайте завтрак.

Менделеев удивительно проворно принял миску, вторую, третью, расставил по тумбочкам. Пахнуло чем-то особенно неаппетитным.

Я с брезгливостью отвернулся: чувствую такое отвращение к серой жиже, что боюсь даже притронуться.

— Что из алюминия? Прямо грубые миски какие.

Молчаливый военный, поглядев своим отсутствующим взглядом на меня и на инженера Менделеева, поставил перед собой миску и стал сосредоточенно есть.

Менделеев сидит на своей койке, причмокивает, ловит глазами мою порцию.

— Чудак вы, чудак! Что же вы ущемляете свой желудок?

— Как-то не очень хочется.

— Э, старые ваши понятия здесь ни к чему — „это не хочу, это не буду“ Одна ведь жизнь. Вкусненького и я не доел... А баланда все же ничего...

— Так берите и мою порцию.

— А вы?... Ну, как знаете... Не хотите — не надо, поем — буду спать.

Закончив вмиг и с моей порцией, он облизнул ложку:

— Ну, вот и все!

Я еще больше чувствую себя не по себе.

Вот уж прямо впору вешаться, а он таким бодрячком. А тот ест кашу мрачно. Ерзаю на своей койке.

Как мы сидели с мамой вчера за столом, и бабушка, и дядя. А позже, только, кажется, заснул, звонок и, немного погодя, стук в нашу дверь. Мамин шопот:

— К нам.

Снова стук в дверь. Бабушка открывает. Кто-то назвал мое имя, отчество.

Чья-то рука отдернула занавеску в нашу спальню. Мимо прошли какие-то люди. Дюжий малый в клетчатом джемпере с лицом боксера ко мне:

— Паспорта есть?

В одном белье бросился искать паспорт. Почему-то подумал, что пришли проверять, не живет ли кто без прописки.

Подал паспорт, и вдруг перед глазами — ордер на арест. Две большие буквы зеленым карандашом: Л.Б., зам. наркома внутренних дел.

— Мама, меня арестуют!

Мама почему-то закивала головой. А в том конце комнаты бабушка в фланелевой мягонькой кофточке...

В камере тишина. Менделеев и военный лежат на своих койках с закрытыми глазами. Который сейчас час? Не узнаешь в точности, который час. Было утро, потянулся день. Хоть бы вызвали скорей. Переворачиваюсь с бока на бок.

— Что же делать? Считать до пятидесяти? Нет, лучше до ста. Вон решетка, прутья: четыре вдоль, четыре поперек. Первый ряд: раз, два, три, четыре; второй ряд: раз, два, три, четыре; третий ряд: раз, два, три, четыре; четвертый: раз, два, три, четыре. Всего шестнадцать.

— Ну, а что будет? .. Чем кончится?..

Слипаются глаза...

Странно! — Как будто наша комната... Двери на террасу...никого нет.... что за бред?

Вроде заснул. Сколько же я проспал?

Что-то щелкнуло. Враз приподнялись. Приоткрылась фрамуга. Лицо надзирателя. Шопотом:

— Кто тут на „Г“?

Вскочил на ноги. Называю свою фамилию. Видимо, слишком громко.

Т-с-с-с...

Поманил к двери, в руках у него бумажка.

— Соберитесь слегка.

Я шопотом:

—Как слегка?

— Без вещей.

Скрипнул засов. Дверь приоткрылась.

Поддерживаю брюки, ту же перепоясываюсь полотенцем. Вывели в коридор.

У дверей дожидаются двое разводящих. Надзиратель наскоро ощупал.

— Принимайте!

— Следуй вперед!

Здоровенный разводящий на ходу подхватил меня выше локтя, а впереди по ковровой, красно-зеленой дорожке уже затопали бесшумные парусиновые сапоги второго разводящего.

В коридоре лампочки вполнакала. Мертвая тишина. Закрытые на замки двери камер. Мертво и глухо.

Вдруг передний оборвал у двери в другой коридор:

— Стой!

Сухой щелк стегнул по сердцу. Куда ведут? Чтс это? Зачем щелкают пальцами и хлопают ключом по ременной пряжке?

А это, как потом узнал, дают сигнал: веду, и если другие ведут такого же арестанта, то ответят щелком и хлопаньем по пряжке.

Строгая изоляция!

Отворилась дверь в другой коридор. Закрытые на замки двери камер. Разводящие ускорили шаги. Еще отворилась дверь в другой коридор — лабиринт коридоров.

Лестничный пролет. По лестничным зигзагам наверх. Рядом пустой лифт, а

меня пешком с этажа на этаж. А между этажами в лестничных пролетах металлические сетки.

Пятый, еще выше, вот шестой этаж. Поворотили направо. Яркий свет. Двери кабинетов. Треск пишущих машинок.

Одна дверь настежь. Мелькнули спины, плечи темнозеленых гимнастеров с „рыцарскими“ эмблемами на рукавах.

Торопливо прошли по коридору.

Передний разводящий открыл дверь кабинета.

Молодой лейтенант, почти не поднимая головы, указал мне на стул у дверей. Он сидит в углу за столом прямо и усердно что-то выводит на бумаге. А за другим большим письменным столом, заложив ногу на ногу, переворачивает какие-то листы капитан госбезопасности.

Странные глаза у капитана, узенькие щелочки голаз, не видно их совсем. Но вот они открываются.

Он посмотрел на меня с любопытством и снова погрузился в свои дела.

В кабинет вошел богатырского вида старшина, наклонился к капитану. Я ментально ухо в их сторону.

— Разрешите доложить!

Капитан кивнул:

— Давай!

— Она вторые сутки отказывается от пищи.

— Ну, что ж, прекрасно, не хочет есть, накормите через прямую кишку (глянул на меня), — не слушайте, это же вас не касается.

Снова к старшине:

Ну, все! Старшина повернулся и вышел. Капитан встал, глянул на лейтенанта, кивнул ему головой и вышел вслед за старшиной.

Лейтенант продолжает что-то выводить на бумаге.

Вдруг, словно кто-то толкнул, резко привстал:

— Как сидишь!? — крикнул он. — А?

Рот перекосился угрожающе, ноздри расширяются, глаза сверкают ненавидяще.

— Да о чем это вы?

— У...гад, харя бессовестная! Руки на колени! Ну, быстро!

— К чему это вы?

— А вот сейчас увидишь, к чему!

Снова сел за стол, дернул ящик, придвинул чернильницу.

Стройная фигура сутуло изогнулась. Снова стал выводить что-то на бумаге, заглядывая в какую-то шпаргалку. Язык высунулся между губами, лицо стало

совершенно спокойным. Вдруг поднял голову, медленно повернулся всем корпусом. Выражение лица необыкновенно торжественное:

— Задаю вопрос: когда и кем вы были завербованы в контрреволюционную организацию?

— Да о чем вы? Товарищ следователь?

— Гад!!! Какой я тебе товарищ. Я тебе советую не прикидываться дураком. Вдруг что-то щелкнуло. Дверь незаметно отворилась. Лейтенант вскочил, мгновенно вытянулся всем корпусом. Закричал мне в упор:

— Встать!! ..уки по швам!

На пороге, в сопровождении блистающих красненькими ромбами высших чинов стоит маленький человек с набухшими голубыми глазами. Гимнастерка выбилась из-под распущенного ремня, пряжка на боку, руки за поясом. Он взглянул на меня равнодушно, устало.

— Товарищ Генеральный Комиссар Государственной безопасности, допрос ведет лейтенант Котелков, арестованный показаний не дает.

Кивнув головой, генеральный комиссар еле слышно выговорил:

— Продолжайте!

Дверь закрылась. Я не успел обратиться к нему.

Лейтенант Котелков опять сел за стол, отложил в сторону бумаги и опять ко мне:

— Ну, что скажешь?.. Садись, чего стоишь? Я тебе гарантирую, что чем скорее возьмешься за ум, тем лучше.

Сажусь на указанное Котелковым место.

Уж и вправду начинаю чувствовать себя в чем-то виноватым.

— Слушай, советую тебе не тянуть резину. Мы ведь с тобой церемониться не будем, не таких, как ты, приводили в чувство.

— Вы как хотите, а я буду жаловаться.

— Жаловаться?

Котелков откинулся на спинку стула.

— Кому будешь жаловаться? Подумай, дурак... Кому будешь жаловаться? Сам Генеральный Комиссар дал приказ, понимаешь ты?... Генеральный Комиссар Государственной безопасности, он же Народный комиссар внутренних дел, он же Секретарь ЦК, он же председатель комитета партийного контроля...

— Зачем все это?.. Вы же знаете, что я абсолютно ни в чем не виноват. Что же я буду говорить?

— Что будешь говорить?.. Руки чешутся двинуть по твоей вражьей морде...

— Да как вы смеете?

— Ах, вот что! Ну, вот я тебя, мерзавец, отправлю сейчас в Лефортово, там быстро поймешь, что к чему.

Лейтенант Котелков нажал кнопку звонка. Буквально в тот же миг в дверях появился разводящий.

— Уведите! — приказал Котелков.

Разводящий вывел меня в коридор. Навстречу—второй разводящий. Тотчас подхватили под руки и зашагали по коридору мимо дверей кабинетов. Два разводящих держат: один— под руки, а другой вывернул левую руку и так всю дорогу держит ее сзади.

Так и шагаю, подталкиваемый здоровенными парнями.

Впереди добавился третий, щелкает пальцами и ключом, а иногда языком. По лестничным переходам спустились в подвальный этаж и зашагали по ковровым дорожкам мимо закрытых на замки камер.

Быстро отворили дверь моей камеры.

Теперь добраться бы только до койки и скорее укутаться в одеяло с головой. Коридорный, принимая, опять ощупал.

Впустили в камеру.

Приподнялся молчаливый военный, уставился сурово, но взгляд беспокойный. Менделеев в нерешительности присматривается ко мне:

— Как там?

Стою, молчу.

— Ну, что? Ну, ничего, успокойтесь, не принимайте близко к сердцу.

— Как же?..

И вдруг, без всякой видимой связи:

— Что такое Лефортово?

— Лефортово? — удивился Менделеев.

— Следовательно угрожал мне Лефортовым.

— Вот как?.. Так это же военная тюрьма.

Внезапно дверь открылась настежь.

— Собирайтесь с вещами.

— С вещами? Неужели на волю?

Надзиратель торопит. Сборы недолгие: пальто и кепка, полотенце и мыло, зубная щетка, смена белья — свернуто в узелок.

Обернулся к Менделееву, военному, махнул головой, вышел в коридор.

Все снова завертелось: обыскали, повели по коридору, повернули в другой, третий, отворили дверь и вывели во двор.

Перед глазами закрытая автомашина, в каких возят хлеб.

И впрямь, разглядел с одной стороны крупными буквами „Хлеб“. „Brot“. На дворе чуть-чуть светает. Белеет снег.

Ко мне метнулись двое в шинелях, подхватили под руки и по ступенькам втолкнули в машину.

— Входи, — сказал голос сзади, и меня втолкнули в кабину, вернее, втиснули, словно в конверт.

(Внутри машина разделена на кабинки, и расположены они по обе стороны с узким проходом посередине. Каждая кабинка совершенно изолирована от остальных и действительно, вроде конверта, потому что запечатывают тебя в ней без расчета на твою комплекцию и на твои вещи.)

Втиснутый в конверт, сижу прямо и неподвижно, сжатый до предела, прижав узелок к животу.

Протопали в проходе. Что-то грохнуло.

Вдруг толчок — тронулись с места. Качнулись обратно.

Снова тронулись и покатались. Вдруг поворот. Опять поворот. Покатались под гору, очевидно, с улицы Дзержинского на Кузнецкий мост.

Занемели ноги, трясет озноб. Машина взяла на подъем. Поворот направо, очевидно, на Большую Дмитровку. Машина рванулась вперед и без всяких задержек повернула вправо, а через несколько секунд — влево. Нет, это не в Лефортово! Очевидно, в Бутырки.

Ну, все равно.

Ну, а дальше что же будет?

Трясет озноб, нестерпима немота в ногах.

Вдруг толчок. Вот опять поворот. Заскрипели ворота. Машина въехала во двор. Стоп. Так оно и есть — Бутырки!

Скрип шагов. Распечатывают мой конверт. Конвоир строго шопотом:

— Выходи!

Выхожу. Выпрыгнул на заледенелый асфальт мрачного двора. Каменная ограда. Фасад тюрьмы с козырьками на окнах. У ворот мрачная башня времен Емельяна Пугачева.

Отворяются тяжелые, окованные двери. У дверей седоусый надзиратель. Мне показалось, что я увидел сочувствие в старческом лице тюремного сторожила. Ввели в большой, просторный вестибюль. (Как узнал позднее, он именовался среди заключенных вокзалом.) Справа и слева в облицованных белой плиткой стенах много дверей. По вокзалу снуют туда и сюда разводящие, хлопают ключами о пряжки, щелкают пальцами. Двое подскочили ко мне. И один из них подхватил под руку.

Тюремный механизм действует четко.

Молча и торопливо ведут к одной из дверей. Разводящий, который шагает впереди, отворяет дверь и, впустив меня, закрывает ее снаружи на засов. Опять в одиночестве, в квадратной комнатухе, облицованной синей глазированной плиткой, где стоит столик и табуретка.

Гляжу на синие стены, на которых ничего не может нацарапать заключенный. Гляжу на потолок.

— А дальше что? — Безмолвие и неведение!

Наконец появляется маленький юркий человек с тремя треугольниками в нашивках. Ставит на столик чернильницу, раскрывает толстую тюремную книгу и — опять вопросы насчет моей фамилии, имени, места и года рождения. Снова раздеваюсь, догола, вытягиваю руки, открываю рот...

Начинаю понемногу привыкать. Снова прощупывается моя одежда.

И снова берут под руки и ведут по тюремным коридорам.

Привели в баню. Закрыли в маленькой кабинке. Нацедил из медного крана полшайки холодной воды. Облился для проформы. Дрожу от холода. Зуб на зуб не попадает. Быстро обтерся, оделся, перепоясал полотенцем спадающие брюки. В руках узелок.

Снова подхватили и поволокли по коридорам, а потом через внутренний двор, скрипя по умятому снегу, ввели в другой корпус.

Стали подниматься вверх по лестнице. Вдруг остановились.

Защелкали где-то ключом о пряжку. Быстро повернули лицом к стенке.

Захлопнулась дверь в верхнем пролете и снова подхватили куда-то.

Коридоры со сводчатыми потолками, с закрытыми на висячие замки дверями камер. В каждом коридоре расхаживает взад и вперед коридорный надзиратель, заглядывает в глазки камер или подслушивает у дверей. Кругом тишина мертвая.

Из коридора в коридор шагаем по бесконечным ковровым дорожкам.

Подвели к камере. Камера № 54. Тихо приблизился коридорный надзиратель. Смерил меня с ног до головы внимательным взглядом, ощупал подмышки, грудь, карманы и стал отпирать замок.

Дверь раскрылась.

Впустили в камеру. Тотчас дверь закрылась.

Что это? Чуть не вскрикнул. На минуту закружилось в голове, почудилось, что попал в преисподнюю.

В тусклом свете, в табачном дыме, в испарении массы тел, сжатых в узком пространстве, словно призраки, стоят на нарах люди в одном нижнем белье, с удивительно мертвенно-бледными лицами, с неподвижными глазами.

Но вот туман рассеивается. Масса взволнованных глаз, разбуженных моим

приходом. Все зашевелилось. Мгновенно обступили и стали расспрашивать.

— Рассказывайте, давно ли с воли?

— Вчера.

— Товарищи, слышите, вчера с воли.

— Коля, слышишь, вчера только арестовали.

— Ну, что там нового, рассказывайте.

— Островский, как вам не стыдно, дайте человеку отдышаться.

Маленький Островский заглядывает мне в лицо, моргает беспокойными глазами, тут же засыпает вопросами.

Узнав фамилию, заинтересовался, не в родстве ли с известным музыкантом.

— Нет, у меня мать преподает музыку, а сам я преподаю историю в средней школе.

— Преподавали историю? Такой молодой?

— Я только в эту осень закончил истфак.

— Успели закончить? Обо мне вы, конечно, не могли слышать, моя фамилия Островский. Я работал в „Дер эмес“.

— К сожалению, не пришлось слышать.

Со всех сторон посыпались вопросы. С жадностью ловят каждое слово. Оказывается, уже три месяца никто из свежearестованных не поступал в камеру. Я прищелец из того, другого, не позабытого, но такого далекого для них мира. Повылезали из-под нар. Стараются протиснуться поближе, тянутся через плечи других.

Островский полностью завладел мною: засыпает вопросами, перебивает, подмигивает, оглядываясь на других. Но в это время скрипнула и открылась дверная фрамуга и в камеру заглянул надзиратель.

— Приготовиться к opravке!

Через минуту отворилась дверь. Все задвигались, заторопились. Трое дежурных остались убирать камеру, а четыре человека в порядке очереди вынесли в коридор две до краев полные парашаи.

Все двинулись вслед за ними. Остановились посреди коридора и разобрались по четыре. Засунув руки в карманы, надзиратель отсчитывает четверки. Отсчитал двадцать четыре и меня замыкающего и скомандовал следовать вперед по направлению к уборной в конце коридора.

В отпертую дверь прошли с парашаи. И тут же расстроились головные четверки. Теснясь, первыми поспешили захватить места. Уже сидит на очке, скрючившись, на корточках Островский, а перед ним и еще перед пятью скрючившимися выстроились ожидающие своей очереди.

Набилось людей — не пошевелинуться.

Склонив большую голову, высокий, плотный человек с доброй усмешкой раскачивает над маленьким Островским веревочку с хлебным шариком. Отсчитывает, как маятником, — сколько просидит. А тот снизу:

— Послушайте, Бочаров, я бы попросил бросить ваши неуместные шутки и оставить меня в покое.

— Ну, ладно, ладно, не буду.

Наконец Островский поднялся на ноги, а веселый человек занял освободившееся место. У дверей, в углу, двое занимаются утренней зарядкой. Один, самый молодой из всех, очевидно, спортсмен, машет руками; другой, маленький подвижный человечек, очень похожий на старую обезьянку, наполоскавшись у крана, энергично растирает полотенцем волосатую грудь, потом поочередно поднимает руки и ноги. Шаркая галошами по мокрому полу, дежурные пронесли к двери пустые параша. Яростно принялись драить песком до блеска, особенно медные кольца вокруг параш.

Меня схватил за руку Островский:

— Что вы задумались? Оправка кончится, не успеете...

— Ну и что?

— Как что? Нельзя же так.

— Потерплю.

— Что вы! Как можно! Терпеть придется до вечера, попка не выпустит.

— Какой попка?

— Ах, боже мой, они так называют надзирателей.

— Скажите, а кто этот шутник с хлебным шариком?

— А, вы видели? Как вам это нравится? Вы думали, Островский не сумеет за себя постоять?.. Ничего, хватит еще духу. А ведь он безобидный, очень хороший человек, очень добрый, известный инженер. Его посылали в Америку, а теперь дали шестой и седьмой пункты.

— А это что такое?

— Раз был в Америке, значит — шпион, получай шестой пункт 58 статьи, а раз инженер, значит — вредитель, получай седьмой пункт, а вам как историку-преподавателю полагается десятый пункт.

— А это что?

— Антисоветская агитация, болтун, самый легкий пункт, а самые страшные — шестой и восьмой, а еще страшнее первый-А, и еще страшней — первый-Б.

— А чем?

— Восьмой — это террор, первый-А — измена родине, первый-Б — измена родине для военных. По первому А и Б — расстрел, а члены семьи изменника

закljučаются в отдаленные лагеря на пять лет, а после отбытия срока высылаются в отдаленные места.

— Что же это творится?

— Верите ли, — продолжает Островский, — я ведь абсолютно ни в чем не виноват, а подписал на себя одиннадцатый пункт — участие в контрреволюционной организации.

— Так зачем же подписали?

— Может, я не прав, не хватило сил, но ведь это надо пережить. Слушайте, что я вам скажу. Почти все здесь очень, очень честные безвинные люди, много старых коммунистов, а девяносто процентов подписали на себя ложные показания. Здесь сидел Гриша Салнин, пять дней назад взяли из камеры, тоже дал показания, а ведь железо, а не человек, латышский стрелок, телохранитель Ленина. Не тот, из фильма, — выдуманный, а настоящий, — на трибунале открыл спину, вся в рубцах, послали на переследствие за недостаточностью материалов.

Островский придвинулся ко мне еще ближе. Его беспокойные глаза отыскивают кого-то.

— Вот смотрите, вон высокий, длиннолицый, в военной гимнастерке, ну, видите, ну, который закуривает сейчас, — это друг Гриши Салнина, комкор Тылтин, тоже из латышских стрелков. Что вам сказать — до ногтей, до корней волос предан революции. Они-таки и от него добились показаний, но какой ценой! Что уж тут обо мне говорить... Если вы думаете, что такой человек мог струсить, то глубоко заблуждаетесь.

Он вопросительно глядит на меня. Нервно потирает грушевидный лоб.

Я ничего не отвечаю.

— Ну, конечно, не понимаете... да? Боже мой, это трудно сразу понять... Что вы знаете!

Он оглянулся вокруг. У белых раковин толкуются люди. Тут же стоит угрюмый Тылтин, а рядом молодой человек в морском кителе внакидку с красивым, смуглым лицом.

— Вот тот, — сказал, показывая на него, Островский, — Коля Гладько. Он был капитаном черноморского торгового флота, одессит; по одному делу с ним сидит в другой камере его друг Голуб. Вы, наверное, читали о нем в газетах?

— Это тот, что спас людей с „Жоржа Филиппара“?

В ответ Островский закивал головой.

— Потом его и Колю выдвинули на ответственную работу в Наркомвод начальниками главков, а здесь их превратили в террористов.

— То есть, как?

— Они, понимаете ли, готовили покушение на Ежова. Кто, скажите, пожалуйста, поверит в эту чепуху?

Он остановился, ища кого-то глазами.

— Посмотрите, знаете, кто этот человек? — и он кивнул в сторону маленького, похожего на старую обезьянку человека.

— Это Рафес. Ничего не говорит вам эта фамилия?

— А кто он?

— Ну, знаете!... Надо вам признаться, я удивляюсь на вас, вы же историк. Это один из вождей Бунда...

На плечо Островского опустилась большая рука Бочарова:

— Умерьте пыл, друг мой, дайте человеку отдышаться.

Островский нахмурился.

— Он должен все знать.

— Успеете просветить, времени еще много.

Вдруг открылась дверь, и раздалась команда надзирателя:

— Кончай оправку!

Люди засуетились, столпились у дверей.

Вслед за ними, работая швабрами, тряпками, дежурные вытирают досуха, до белизны, плиточный пол, кафельные белые стены, умывальники. Как успел прочесть в правилах внутреннего распорядка, заключенные строго обязаны поддерживать образцовый порядок.

Но вот с парашами беда: чистили снаружи, мыли внутри, сыпали туда хлорки, а все равно пахнет от них тошнотворно. Вонь парашная — едкая, нестерпимая. вонь.

На людей глядя, и сам втягиваешься в новую жизнь. Непривычное постепенно делается привычным.

Вот загремел замок.

— Выходи! — крикнул надзиратель.

Разобравшись по четыре, покорно затопали по коридору. Вошли в камеру. Слабый свет потолочной лампочки. Серо и удушливо. Удушливо от многолюдства, от парашно-табачного смрада. И оконная фрамуга не помогает. В окне, закрытом снаружи козырьком-намордником, ничего не видно, кроме кусочка утреннего пасмурного неба. Угнетающая тюремная казенность: большая сводчатая комната, не пропускающие ни единого звука стены, сплошные нары по обеим сторонам камеры, а между ними узкая, длинная дорожка плиточного только что вымытого пола; на нарах постельных принадлежностей нет, да и за всем они в такой тесноте: очевидно, спать можно только на боку, плотно прижавшись друг к другу; одеяла не нужны, жарко и без них; у окна, между нар,

на три метра в длину, узкий простой деревянный стол с пятнадцатью кормушками с одной стороны и пятнадцатью кормушками с другой; на столе выставлены металлические, до блеска начищенные кружки и одна миска с солью; слева от двери, над парашей, висят правила внутреннего распорядка.

Все это я рассмотрел сразу же.

Мне, как новичку, указали мое место на нарах, около самых дверей, у вонючих параш. Тут же несколько человек уселись рядом со мной и стали спрашивать кто о чем. Но не просидели мы и пяти минут, как вдруг надзиратель открыл дверную фрамугу и велел готовиться к проверке.

Послышался чей-то резкий голос, вероятно, старосты камеры:

— Товарищи, давайте стрситься!

Все, повинуясь команде, начали строиться. Каждый знает свое место, свою пятерку. Старики остались стоять внизу, вдоль нар, от стола до дверей, остальные — в затылок им, на нарах. Многие тихо переговариваются, слышится даже смех.

В пятерках я вижу уже знакомые мне лица: самого высокого из всех добродушного Бочарова, сурового Тылтина. А вот в соседней со мной пятерке вождь Бунда Рафес, о котором с такой многозначительностью говорил Островский. Стоящий в той же пятерке Гладько внимательно слушает, что ему шепчет бородатый, лысый, в морском кителе старик. Он чему-то весело рассмеялся, рассмеялся и бородатый старик. Бородач вдруг подмигнул мне:

— Устали, отдохнуть хочется?

— О-очень!

— По глазам вижу, что ко сну клонит. Ну что ж, поверка кончится, потом завтрак, прогулка и тогда выспитесь. Полный комфорт!

— Я как-то устал.

Под взъерошенными бровями старика прячутся маленькие блестящие глаза.

— Отлично понимаю. Но это вопрос частный, теперь переходим к вопросу общему: вот вам повезло, нынче дежурство принимает Добряк, а Добряк совсем не то, что Свинья в ермолке. Вам требуются дополнительные разъяснения, кто такие Добряк и Свинья в ермолке?

— Наверное, надзиратели?

— Гораздо хуже: наши непосредственные начальники — старшие по корпусу. Добряк малый хороший, а второго трудно назвать человеком, ему только бы за что-то уцепиться — кабан дикий. Вот и смеемся, дали ему прозвище: Свинья в ермолке.

Вдруг старик смолк. Распахнулась дверь. В камеру быстрыми шагами вошли корпусные. Надзиратель остался в дверях.

Мы стоим на нарах по обеим сторонам камеры, друг против друга, по пятеркам и затылок; стоим, опустив руки по швам, перед невысоким, средних лет старшиной.

Остроглазый, в ладно облегающей его гимнастерке, в начищенных сапогах, он щурится, будто виноватый. Торопливо просчитал пятерки, подошел к столу и здесь быстро пересчитал кружки, число которых, очевидно, должно точно совпадать с числом людей, содержащихся в камере.

К столу подошел и второй корпусной. Уставился в кружки и вдруг повернул половый затылок. Озираясь, выпучив заплывшие глаза, промычал:

— Куда дели кружку?

Боязливо высунулся маленький Островский:

— Гражданин ответственный... Разрешите мне... Ведь прибавился еще один человек.

— Который тут прибыл? — строго перебил Свинья в ермолке.

Пригнув книзу голову, стоит, как вкопанный, и я подумал, что смахивает он больше на быка.

Из первой от двери пятерки выступила вперед высокая фигура человека военного вида с торчащими пепельно-желтыми усиками, попросил меня показаться начальству. Очевидно, он староста камеры. Свинья в ермолке тупо уставил из-под заплывших век неподвижные глаза:

— Фамилия?

Я назвал фамилию.

— Кружку и ложку получили?

— Нет, не получил.

Добряк махнул рукой надзирателю, и тот передал в камеру кружку и ложку.

Я заметил, что Добряк все это время стоял с мрачным лицом, ни на кого не глядя. Свинья же в ермолке никак не может кончить поверку. Он снова уставился на кружки и вдруг толстыми пальцами захватил одну из них. Крепко сжав, протянул старосте:

— Это что такое?

— Не понимаю.

— Тут понимать нечего... Почему не до блеска?... Лишу лавочки и прогулки... Понятно?

— Понятно, гражданин начальник.

Не торопясь, по бычьей нагнув голову, гражданин начальник вышел из камеры.

Вслед за ним тихо вышел Добряк.

Затворилась дверь. Все сразу перемешалось.

Наиболее любопытные снова окружили. Усаживаются на нарах, впритык ко мне, ожидают важных новостей.

— Ну, а что говорят о нас?.. А народ?.. Народ как реагирует?

— Черт возьми, бросьте задавать человеку глупые вопросы. Как будто с другой планеты сюда прибыли.

— Почему глупые?.. А скажите, как теперь с арестами?.. Правда ли, что Берия вместо Ежова?

Арестованный подобен больному: сочувствие, надежды, иллюзии поддерживают силы, облегчают страдания.

— Берия не заменил Ежова. Он только назначен его заместителем.

— Что, было в газетах?

— Да.

— Хрен редьки не слаще, — заключил, затягиваясь папиросой, знакомый уже мне бородатый старик.

— Вы не правы, ох, как вы не правы, товарищ Пучков, — со значительным видом заметил вождь Бунда Рафес.

Он не садится на нары, а расхаживает взад и вперед по узкой дорожке, заложив руки за спину, с поднятой головой. Все время прислушивался к разговору, а сейчас остановился.

— В чем я не прав? — обернулся к нему Пучков.

— Удивительно простодушны... Вы не политик.

— То-есть как?.. Мои десять лет в царских казематах, это что — не политика?

— Такой багаж имеется и у меня за плечами... Общие места. Я не о том... Политик не может быть моралистом. Несовместимые вещи. Надо знать психологию людей, знать им цену и не заблуждаться, не сюсюкать. Перестанем, наконец, разыгрывать из себя младенцев. Политику неизмеримо труднее, чем моралисту. Он делатель, и он берет на себя ответственность за других. Ну, одним словом, откровенность. Будем хоть здесь откровенны друг с другом: от милой нашему сердцу пролетарской демократии, оппозиций, дискуссионной болтовни и прочего мы наблюдаем переход к государственности. А для этого требовалось и требуется преодолеть многое. Вначале у нас было много патетики, мир чувств, переживание чуда революции, ожидание нового чуда — мировой революции, переживание трансцендентного! Всех, до самого безразличного мужика, охватила такая вера, какой никогда не бывало в России, да и не только в России. Будущность рисовалась замечательно потусторонне. Увы! Все оказалось в данном случае на стороне Кобы. Потребовались не чувства, а политическое чутье. Потребовалось претворить в жизнь логические формулы. Мы все

кричим о человеке, когда мы здесь. И, однако, у нас нет должного понимания того, что делает Коба.

— Ну, знаете, хватит.

(Сбоку метнулся остроносенький, с маленьким желтым лицом.

Задыхается от волнения.

— Вы хоть понимаете, товарищи, какая это неправда? Товарищ Рафес! Не издевайтесь над нами, называете себя революционером. Где же ваша совесть? Ведь это кощунство, иезуитство, если хотите. Послушайте лучше хлебнувшего лагеря (очевидно, боясь, что перебьют, заторопился). Встретил я там одного профсоюзного работника, песок грузили вместе. Рассказывал: я, говорит, с трибуны оговорился, сказал: Лазарь Ефремович вместо Лазарь Моисеевич. На карандаш взяли, и я кончился. Вот грузу здесь песок. Второй случай: Кагановичевский шофер. Думаю, что не выдумал. Так не выдумаешь. Как приятно было слышать там, по ту сторону Байкала. Вот, говорит, везу я его по Арбату, а случилось это у Серебряного переулка. Вот подал машину на дачу. Он вышел. Его сама провожала. Он всегда садился сзади, а тут рядом сел. Хочешь покурить? Благодарю, Лазарь Моисеевич. Ну, поехали. Говорит: Давай, жми. Как припустил — только отмахивают постовые. А у Серебряного — „скорая помощь“ наперерез, и я с полного хода затормозил. А „хвост“ с полного хода и нас и врезался. Сидел бы он на заднем сиденьи, и конец ему, а тут даже не поцарапало. Он рядом со мной. Сидит белый, рот открыл, как лягушка. Через пять минут понаехали, окружили. Его — в первую машину, а меня — на Лубянку. Я-то ведь ни в чем не виноват. Пятьдесят восемь-восемь, три допроса, высшая мера. Уж на что в секретариате, в НКПС, и то начальник личной охраны жинку знал, пустили к нему (после на свиданье приезжала, рассказывала). Она к нему в ноги. Он посмотрел. Как завизжит: Кто ее пустил? Ну, все же обещал. Заменяли десятью годами. А за что? Что затормозил? Третий случай. Жил ветеринарный врач с семьей. Трудился. Даже не знаю, что с ним было, что-то очень худой был. И вот, свалилось на него несчастье. Спросил его сослуживец: „Почему ты такой худой, Федя?“ „Такая уж конституция“. Через сутки его забрали. Товарищ Рафес! Стыдно, нашли подо что теории подводить. Сжимается сердце, как подумаешь обо всем.

Позвольте, Сергей Иванович, заметить вам, — Рафес усмехнулся, присаживаясь на край нар. — Я слишком хорошо знаю жизнь. Поэтому ничему не удивляюсь.

— А я, — вскипел еще более остроносенький Сергей Иванович, — не перестаю удивляться и возмущаться. Дураки мы! Эх, дураки! Лев Давыдович давно нас о термидоре предупреждал. Не верили, дураки.

— Одну минуту, — оборвал Сергея Ивановича пожилой человек в холщевой косоворотке. Лежал неподвижно, а тут вдруг поднялся, встряхнул головой, выставил грудь: — Я вас перебыю. Он окинул окружающих горделивым взглядом и как-то вдруг сложил губы по-интересному. — Говорите, Лев Давыдович предупреждал? Какой тут к чорту Лев Давыдович! Тоже гусь хороший. Интеллигентным людям, чрезвычайно запутавшимся, нравится словесная мишура.

— Товарищ Кондратьев!

— Что Кондратьев? Шарлатан ваш Лев Давыдович! Здорово безобразничал... Знаем, помним по семнадцатому году его да Зиновьева.

— Неужели вы серьезно, товарищ Кондратьев?

— Угу... Фокусники! Использовали стихию! Расправа в Ипатьевском особняке...

— При чем тут Лев Давыдович? Он был безукоризненным революционером. Он, что, знал? Он, что, был там?

— Там не был, а дружки его учинили расправу, самосуд, без суда и следствия. А Зиновьев рыскает по Петрограду, устраивает обыски у Горького, арестовывает интеллигентов, шантажирует, снимает с проспекта трамваи — „буржуи пешком могут ходить“, усердствует доказать революционность. А потом этот расстрел Малиновского?

— Так он же провокатор?

— Все мы в какой-то мере провокаторы, если не сказать большего...

— Куда уж больше.

— Угу... Слежка друг за другом — наилучший способ для достижения единомыслия.

Назто Сергей Иванович только плечами пожал. Остальные в разных позах сидят и лежат вокруг. Молчат.

Над моим ухом шопотом выпрашивает что-то у Рафеса загорелый парень. Он тоже здесь (тянется просветиться).

К нашему кружку подошел комкор Тылтин. Высокий, худой, он очень бледен. Обвел всех суровым, упрямым взглядом и сел рядом с Рафесом и загорелым юношей. Глубоко вздохнул Сергей Иванович, посмотрел с укором на Кондратьева, снова заговорил:

— Слушайте, ну, а мы-то все, кто же мы?

Затеребил бороду Пучков, захихикали глаза, губы:

— Разные, все разные, тут бесполезна уравниловка... Требуется разъяснить?

— Ну, давай, давай.

— Все вы знаете, что Рафес совсем не то, что сидящий сейчас с нами рядом Во-

юдя Кудинов, — Рафес настороженно вскинул глаза — Володя почти ребенок, без всяких особых идей, не удивляйся, бицепсы твои не в счет. Володя пока еще живет обыкновенными человеческими чувствами, а товарищ Рафес — чутьем, житейской мудростью: сначала руководство Бундом, а потом министр по еврейским делам в правительстве Петлюры...

Заметался Рафес:

— Гнусная демагогия... голос дрожит от волнения. — Вы не человек, а зверь!..

— Сами вы зверь!..

— Тш-ш-ш-ш, ти-ше, товарищи, зачем так! Попка услышит!

— А мне наплевать, когда меня чернит какой-то Пучков-Безродный. Он меня судит? Что, батюшка, вспомнили свою работенку в трибунале?

— Ну, вот, поехал, — прошептал Пучков-Безродный.

— А как же? Я как раз умею смотреть на людей во всех одеждах. И умею, очень хорошо умею понимать их и делать правильные выводы. Нужно оправдать как-нибудь себя, и вы занялись пожиранием Рафеса. Постулируется человечность! Но тогда научитесь не юродствовать, не строить из себя кликушу, не сопоставлять людей..

— Вы меня не поняли.

— Я вас не понял? Вы теперь толкуете о моих чувствах, о моей ответственности за мои поступки. Осмелюсь вам открыть столкновение между моими чувствами, если хотите — чутьем, да, чутьем гибели, чутьем холода смерти чужих для вас еврейских страдальцев и предрассудком того, что обо мне будут говорить, если я стану министром у Петлюры и возьму на себя защиту этих людей. Обвинение в политиканстве, в подлости напрашивается на язык. Не правда ли? Я знал, что люди будут меня судить, в том числе такие умники, как вы. И я переступил через этот предрассудок. И я предотвратил-таки несчастье при первом появлении Петлюры. Вам не понять меня, и вы глумитесь над моими чувствами. Пускай в ваших глазах я кругом виноват, пускай! Я не стыжусь этого... Вдруг сморщилось его лицо, он вскочил и быстро зашагал по камере. Сурово сверкнул глазами на Пучкова комкор Тылтин. Поднялся и отошел к столу. Поднялся со своего места Володя Кудинов.

Атлетического сложения юноша с нежностью прижал к себе маленького Рафеса и зашагал вместе с ним.

Вздохнул Пучков:

— Пора хлебу быть.

Все промолчали. Его глаза запрыгали. Не вынес молчания:

— Что я сделал?

— Гадость сделали, — прошептал Сергей Иванович. — Не желаете понимать, что у людей нервы натянуты до предела.

Смущенно поглядел вокруг Пучков.

— Да, нехорошо, — продолжает Сергей Иванович, — вам надо попросить извинения.

— Попрошу... Я... я не хотел его обидеть, — оправдывается Пучков-Безродный, потирая лоб.

А мимо нас вышагивает Рафес. Рядом с ним, обняв его за шею, Володя Кудин. Стоит около Тылтин. Вокруг суетятся камерники. Приготавливаются к чаепитию. Сидит перед столом старик в очках. Опустив белую голову, чистит дрожащими руками металлическую кружку.

Меня тянет подняться на ноги, очень неудобно на нарах, тесно. Не то, что на спине, а и на боку никак не вытянешься. Встал, и сразу почувствовал облегчение.

Высокий, изможденный Тылтин подошел ко мне. Холодное, суровое лицо.

— А где вы жили? — спросил он, медленно выговаривая каждое слово.

— В Трубниковском переулке.

— Это не в большом доме, шесть?

— Точно, точно, в этом доме, да, да. Вы знаете? Дом четыре-шесть-восемь, около Второвского особняка.

— Может быть, вы знаете соседей с фамилией Восканов, Затонский?

— Конечно, знаю Затонского, начальника военной академии, а командарма Восканова...

— Они работают?

— Они давно арестованы.

— Понятно.

Он закрыл глаза. Выперли и заходили желваки.

— А вы их хорошо знали? — спрашиваю я.

Застыло большое лицо комкора.

— Приходилось встречаться по службе.

Повернулся на каблуках и уставился в решетку. Долго смотрел в одну точку, а потом вдруг опять подошел ко мне:

— Может быть, вы знаете судьбу еще каких-либо военачальников?

— Год назад, немножко больше года, кажется, четырнадцатого июня, в газетах объявили о расстреле Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Эйдемана, Фельдмана, Примакова, Путны...

— Это я знаю, — оборвал меня комкор Тылтин. Не спросив больше ничего, он снова повернулся к окну.

Прошли Рафес и Володя Кудинов. Оба они, заложив руки, продолжают прогулку по камере.

Я уже окончательно клюю носом. Глаза слипаются. Протискиваюсь на свое место на нарах. Плышет все вокруг: и лохматенький Кондратьев, и вытянутое желтое лицо остроносенького Сергея Ивановича, и многих других, прижатых друг к другу лиц.

Я обернулся и вижу перед собой председателя правления нашего дома командарма Восканова. Он в белой рубашке. Подпоясан кавказским ремешком. На ногах тонкие шевровые сапоги, перепачканные глиной.

Ну, смотри, — говорит он мне, вскидывая на наш дом твердый подбородок.

Видишь?

Взглянул и вижу отчетливо: прекрасный татлинский дворец, озаренный солнечными лучами, высится рядом с нашими старыми пятиэтажными домишками.

— Надо трудиться для них, — прошептал Восканов, указывая на детвору. И вдруг, спохватившись, полез в карман галифе, вытащил портмоне и, достав из него маленькую фотографию, протянул ее мне. Это был он молодым человеком в шинели и высоком шлеме на голове. Я отдал карточку обратно и взглянул на Восканова. Он стоит, словно приросший к земле. На лице застыл ужас, лицо мертвеца: совершенно восковое. Послышался звон колокола в церкви Свас на Песках. И этот звон не заглушил явственно услышанный мною, где-то из другого места глухой голос Восканова:

— Прячься скорей под террасу, там ты будешь в безопасности. Меня схватил за руку мой приятель, студент консерватории, недавно приехавший из Харбина. Он тянет куда-то.

Скорей, — шепчет он мне, — пойдем скорей, надо спастись. Рука его дрожит.

— Ну что за вздор, — думаю я, — от кого спастись?

Ну, а если ему действительно есть чего опасаться?

От такого подозрения становится не по себе.

— Чего тебе страшно? — спрашиваю я приятеля.

Он посмотрел на меня.

— Брата Леву забрали... Очередь за мной.

И вдруг, будто чем-то пораженный, отскочил от меня в сторону и в тот же миг побежал прочь со двора.

Я должен догнать его, но внезапно посерело небо, разразился проливной дождь. Я поспешил укрыться куда-нибудь. Где-то вблизи говор детворы. В окнах за-сверкал свет. Не успел я пристроиться у крыльца черного хода, как в двух шагах от меня, в слабо освещенном, занавешенном окне послышался приглу-шенный стон.

Шагнул к окну. Сквозь неплотно задернутую занавеску увидел такое, от чего перехватило дыхание: в чистой комнатухе на столе стоит гроб. В гробу в холщовой косоворотке, сложив руки на груди, лежит Кондратьев. Мертвые глаза, заостеневшее лицо.

Что же это такое? Тут же, почти рядом, высокий военный склонился у постели над закутанной в простыню женщиной, а она с какой-то особенной нежностью застегивает ему гимнастерку.

В спину мне хлещет дождь. Вдруг военный поднимает голову. Черные блуждающие глаза, плотно сжатые губы. Он приближается к окну. Лейтенант Котелков. Хочу бежать, но не в силах сдвинуться с места. Ноги — неживые. Невольно пронзила мысль: неужели наяву?

В тот же миг пришел в себя, очнулся, открыл глаза.

Камера. Рядом бородатый Пучков-Безродный прихлебывает из жестяной кружки чай. У стола нехватает на всех места. Здесь же, расстелив на нарах носовые платки и полотенца, разрезают витыми веревочками, а кто — зубными щетками покупные буханки, копаются в своих мешочках, достают оттуда запасы лавочки: чеснок, лук, конфеты-подушечки, кусочки сала, колбасы... Путешествуют по камере два медных чайника. Пучков-Безродный предлагает чай, передает мой паек: горбушку хлеба и два кусочка сахара.

У стены, подвернув под себя ноги, сидит живой Кондратьев. Вот он вскинул лохматую голову, повелительно посмотрел на меня. Взгляд пристальный, твердый, глаза открытые, живые. Меня подмывает рассказать сон.

Не могу понять до конца, что он означает. Но как ему расскажешь? Подумал и удержался. Кондратьев сам заговорил (нижняя губа у него выдалась вперед):

— А можно будет узнать, что пишут в газетах? Вы их читали?

— Конечно.

— Можно, да?

— А что вас интересует? Если хотите, я дам краткий обзор газетных новостей.

— Вот это вы умница! Ну, я весь внимание.

— Что-либо знаете о перестройке Тверской?

— Нет, мало знаю, так как несведущий.

— Тверская расширяется... От Охотного по всей правой стороне строятся новые дома по проекту архитектора Мордвинова.

— Да ну! Очень интересно! Я вас хочу спросить, как в Испании?

— Кажется, дело идет к победе...

— Хорошо, очень хорошо, это мы всегда приветствуем. А более подробно можно?

— Подробно? Конечно. На днях попала в „Правду“ большая статья Елизаветы Кольцовой. Пишет про крупную победу республиканцев в боях на Эбро. Обращают на себя внимание и слова Андре Марти.

— Что же он сказал?

— Он сказал, что урок войны в Испании чрезвычайно показателен, что рука Гитлера, занесенная над Испанией, схвачена в клещи героическим сопротивлением республиканцев на Эбро.

Кондратьев посмотрел на меня и тихо произнес:

— Да, платить за все придется.

— За что же платить?

— Да нет, так, не буду обременять, продолжайте.

— Я рассказал кратко об Испании, а теперь о Чехословакии.

— Ну, давайте, говорите.

— Двадцать первого сентября вечером чехословацкое правительство капитулировало, мотивируя капитуляцию отказом Франции и Англии помочь в случае военного нападения Германии...

— Да ну!.. Что вы говорите?... Ну, а мы?

— В последнюю минуту чехи заявили, что на помощь СССР надеяться нечего.

— Вот как? Ну, а дальше?

— А дальше Венгрия предъявляет ультиматум, и к ней отходит южная и юго-восточная часть Словакии и Южная долина Карпатской Украины. А на днях предъявила ультиматум Польша. Она требует Тешина.

Кондратьев угрюмо сдвинул брови:

— Да, хорошего это предвещать не может... До крайности безотрадная картина.

— А я еще вот про что хотел рассказать: читаю на днях „Правду“, смотрю, известия из Базеля. Рассказывается про какую-то фашистскую листовку на счет календарных сроков захвата территорий. И прямо псразительно: на весну этого года планировался захват Австрии, а на осень Чехословакии, и вот, — пожалуйста! Однако далее поверить трудно: на весну тридцать девятого — Венгрия, на осень — Польша, на весну сорокового года — Югославия, на осень сорокового года — Румыния и Болгария. Весной сорок первого года планируется захват Франции, Бельгии, Дании, Швейцарии, а осенью — СССР. Но это уже бред, а отчего-то становится страшно.

— Да, сейчас время показало, что платить за все придется.

— За что же платить?

По лицу Кондратьева скользнула усмешка.

— Это требует большого разговора. Продолжайте лучше вот то, о чем вы говорили.

— Мне все равно, но будьте снисходительны к моей наивности.

Кондратьев скосил глаза:

— Ну уж что вы, что вы! Все это лишнее. Если говорить серьезно, я сам кое-чего не знаю. Задача в том, чтобы понять, что и зачем.

— Тогда, если хотите, продолжу краткий обзор.

— Ну, давайте!

— Вот еще о событиях в Палестине.

— О событиях в Палестине? — Кондратьев повернул голову и привстал на уровне моего плеча. Замахал кому-то, приглашая к нам в угол. И вот пробирается к нам новсе для меня лицо.

— Вы еще не знакомы? — спросил с улыбкой Кондратьев. Познакомьтесь — доктор Домье... Присаживайтесь, доктор. Я думаю, что вас всегда интересуют события в Палестине, о которых расскажет нам наш новый товарищ.

Доктор как-то хорошо, приветливо посмотрел на меня. Он выглядит на все пятьдесят. Лоб изборожден глубокими морщинами, а в глазах сверкают умные смешинки. У него необыкновенно выразительное лицо.

— Вы меня не поняли. По сегодняшним событиям ничего сверхсенсационного не расскажу. Германские и итальянские агенты ведут подрывную работу; там тоже уже есть фашисты. Они завозят оружие, создают повстанческие отряды... В Берлине, как я читал в „Правде“, находится центр пан-арабской организации.

Доктор Домье совсем близко смотрит мне в глаза. Но вот он повернул свой строгий профиль на Кондратьева. Кондратьев молча улыбается.

— Ты имеешь лишь то, что видят глаза твои, — проговорил мягким голосом доктор Домье.

— Куда это вы заворачиваете? — спросил Кондратьев, глядя на доктора с улыбкой.

— Я чувствую, что мне следует рассказать одну историю, которая описана в Библии.

— Ну, давайте, доктор, говорите.

Доктор поглядел на Кондратьева, провел рукой по голове:

— Есть люди, вроде вас, которые мыслят по очень простой схеме, — опять скажете, что все библейские истории — басни, выдумки разные...

— Ну, ну, давайте, рассказывайте, обращайтесь в свою веру.

— Отчего бы и не обратиться?... Ладно, нужно к себе... я, признаться, устаю от таких разговоров.

Доктор встал и направился к своему месту, а Кондратьев выставил грудь:

— Мы с ним тысячу раз вот так говорили; упрямый, просто сил нет... Хочу еще вас спросить: ну, а что в театрах нового?

— Ничего нового... Мейерхольда закрыли.

— Закрыли театр Мейерхольда? Да ну!... Когда?

— В январе этого года... В декабре прошлого года появилась в „Правде“ разгромная статья Керженцева, а через двадцать дней театр закрыли.

— Очень интересно. Попросил бы рассказать.

— Да что тут рассказывать. Многие не любили его за беспокойный характер. В конце концов все его тревоги и искания были не по их мерке. Я только хотел увидеть его, подойти и сказать какие-то слова, но не решился. Ну, я написал письмо Сталину, и в тот же вечер отправил по почте.

Что вы написали?

— Я просил защитить Мейерхольда.

Кондратьев посмотрел на меня:

— Трогательный факт. Пусть наивно, но сам факт. Да, очень интересно. Вижу, куда они жмут. Вот увидите, они его врагом объявят.

— Кто „они“?

— Вы не знаете, кто? — Кондратьев придвинулся ближе.

— Пусть вас не удивляет... в один присест не ответишь. Об этом надо поговорить. Так вроде и вижу их всех перед собой.

Теперь глаза открыты... с большим, правда, опозданием. Знаете, сложный вопрос; вопрос, так сказать, сердца... Они — мы с вами...

Го-есть, — как?

— Да, да, как ни странно, мы с вами и окружающие нас. Часто под видом добра творим зло, и очень разнообразно... Пускай даже бессознательно, несколько не меняет существа дела. На каком-то этапе мы потеряли чувство контроля. Случилось нечто такое, о чем люди не смели говорить, но в то же время в какой-то степени чувствовали.

А я ничего не знал, а если и чувствовал, то очень слабо.

Вот мы с вами, видите, какие наивные, — усмехнулся Кондратьев, — время некому научит. Вот сейчас здесь перечитывал „Воскресенье“ Толстого. Я сейчас покажу вам этот текст.

Он потянулся к стенке, в головах разыскал книгу и снова придвинулся ко мне. Открыл книгу и начал про себя читать.

— Простите, что перебиваю... я хотел спросить: здесь разрешают книги?

— Дают много книг и хорошие книги, просто счастье, на десять дней сорок книг на камеру, а потом меняют. (Торопясь, перелистывает страницы) — Сейчас, сейчас, секунду. (Наконец, видимо, нашел то, что нужно) — Угу, ну вот: „Несмотря на то, что Новодворов был очень уважаем всеми революционерами, несмотря на то, то он был очень учен и считался очень умным, Нехлюдов причислял его к тем революционерам, которые, будучи по своим нравственным качествам ниже среднего уровня, были гораздо ниже его. Умственные силы этого человека — его числитель — были большие; но мнение его о себе — его знаменатель — было несоизмеримо огромно и давно уже переросло его умственные силы...“ Вот вам Толстой! — воскликнул Кондратьев, — каков старик?..

А вот дальше: „Вся революционная деятельность Новодворова, несмотря на то, что он умел красноречиво объяснять ее очень убедительными доводами, представлялась Нехлюдову основанной только на тщеславии, желании первенствовать перед людьми.“

Вот умница старик?! „Желание первенствовать перед людьми!“

Вот так!..

Ну, дальше: „Сначала, благодаря своей способности усваивать чужие мысли и точно передавать их, он в период учения, в среде учащихся, где эта способность высоко ценится, имел первенство и он был удовлетворен. Но когда он получил диплом и первенство это прекратилось, он вдруг, чтобы получить первенство в новой среде, совершенно переменил свои взгляды и из постепенца-либерала сделался красным народовольцем. Благодаря отсутствию в его характере свойств нравственных и эстетических, которые вызывают сомнения и колебания, он очень скоро занял в революционном мире удовлетворявшее его самолюбие положение руководителя партии...“

Ну, скажите, что это такое? Какое сходство, а?

— Но вы же читали раньше?

— Читал и не замечал. Да, не замечал.

Ну, буду продолжать: „Раз избрав направление, Новодворов уже никогда не сомневался и не колебался, и потому был уверен, что никогда не ошибался. Все ему казалось необыкновенно просто, ясно, несомненно. И, при узости и односторонности его взгляда, все действительно было очень просто и ясно, и нужно было только, как он говорил, быть логичным. Самоуверенность его была так велика, что она могла только отталкивать от себя людей, или подчинять себе. А так как деятельность его происходила среди очень молодых людей, принимавших его безграничную самоуверенность за глубокомыслие и мудрость, то большинство подчинялось ему, и он имел успех в революционных кругах“.

— Вы смотрите, как получается? Какое же поразительное сходство! Ну, а наш-то тип похлеще все же, чем Новодворов, а? Это очень интересно. Хотите, прочту вам еще?

— Хочу.

— Ну, вот еще несколько пророческих слов: „Товарищи уважали его за смелость и решительность, но не любили. Он же никого не любил и ко всем выдающимся людям относился как к соперникам и охотно поступил бы с ними, как старые самцы-обезьяны поступают с молодыми, если бы мог. Он вырвал бы весь ум, все способности у других людей, только бы они не мешали проявлению его способностей. Он относился хорошо только к людям, преклонявшимся перед ним“.

— Пророчество, — шепчет Кондратьев. — Да, этих людей без сердца нам нелегко было понять. Кажется, нет такой страницы в истории, чтобы в известный момент не появился тип вроде Новодворова.

— Вы думаете, что все это до такой степени цинично?

— Прежде я этого не думал...

Кондратьев пододвинулся ко мне совсем вплотную и почти в самое ухо зашептал:

— Очень просто делать людям добро и не делать им гадостей.

А вот негодяи гонятся за личной славой... Шарлатанство!

Бесстыдство, прикрытсе фиговым листком... Сам не знаю, чем он нас ослепил. Ну, скажите, какой триумф — при помощи масс ловко сесть им же на спину? Весьма удачный экземпляр! Именно в этом смысле проявил самые незаурядные способности. Не доверяли фракционерам — болтунам, пустозвонам, ну, а вот он — прямой мужик, железо, да и фамилия у него такая, что можно доверять. Дело в верных руках. И что же? Со всей, так сказать, прямолинейностью очень хорошо усвоил схоластику. Вдобавок — простой и понятный для всех язык. Например: „Расширяем ли мы фактически демократию в деревне? Да, расширяем. Есть ли это уступка крестьянству? Безусловно есть.

Велика ли эта уступка и укладывается ли она в конституцию нашей страны?

— Уступка тут, я думаю, не очень велика, и она ни на йоту не меняет нашу конституцию“. Хлестко, не правда ли?

— Какая у вас память!

— Да, природа меня не обидела...

Итак, на основе его личных указаний наконец-то стало все ясно и просто, как и куда двигаться... Между прочим, курьезная вещь, цитирует направо и налево Ленина и Маркса и полностью на них плюет. Куда более по душе оказался старик Маккиавелли. Этого, наверняка, добросовестно штудировал. А Грозный

и Петр с их заплечных дел мастерами тоже пригодились, выплыли на свет божий! Одним словом, до абсурда дожили... Без особого напряжения метко разит врага: в любую минуту любой и каждый может быть обвинен в подрыве основ. Подбирается, как змея, а нож всегда вкладывает в чужие руки...
— Товарищ Кондратьев!...

— Ну что вы, что вы, — боитесь? Не бойтесь. Здесь все быстро прозревают, а в следственном корпусе мало интересуются тем, что мы думаем. Из этого суп не сварить, потому что правдой можно поперхнуться. Теперь, более, чем когда-нибудь, они нуждаются в уголовщине, в детективе. Надо развернуть фантастическую историю. Мы уже знаем, как это делается: подойдет человек к следовательскому столу, возьмет ручку и напишет: „Признаюсь, что я старый шпион, завербованный царской охранкой...“ Или еще так: „Я вредитель-монархист, диверсант, участник троцкистского центра, фашист, ненавижу лютой ненавистью советскую власть“...

Да вот вы сами убедитесь в ближайшем будущем. Одним словом, гениальный человек в смысле будораженья фантазии... Такой гениальностью угостил, что волосы дыбом становятся. Здорово. Да?

— Да, тут есть от чего в отчаянье придти. Только больно трудно сразу понять.

— Да, да, взять вдруг сразу и поверить. А попробуйте рассказать там, на воле, или, например, если бы пришлось, — на открытом суде. Кто бы стал слушать, а? Кто поверит?... Любой на вас ополчится. Или случись невероятное — выпустили вас на свободу. Ну и что? Самым близким, родным расскажете. Ну, не назовут троцкистским охвостом, но недоверчиво покачают головой и по-родственному посоветуют беречь себя, молчать... Доверяют ему настолько, что в лучшем случае сочтут вас спятившим с ума...

— А среди близких к нему людей нет ни одного, кто бы раскусил, в чем суть дела?

— Не сомневаюсь, что есть, и должны раскусить вблизи. Давно спала с него пелена непогрешимости, и фрукт предстал в чистом виде, во всем, так сказать, гранатно-красном соке, но теперь слишком поздно... власть вся в его руках... И притом у двуличного всегда больше преимуществ, чем у честных людей... Многие из них ушли на тот свет, многие идут на фальшь. Вы посмотрите, как не покладая рук, постепенно, всех почти методически выжил. Просачивались слухи, но кто мог поверить, боялись даже подумать.

— Это верно, я и сейчас с трудом верю, что все это наяву.

— Не верите, да? Вот именно... Насчет того, чтобы поверить, действительно трудно. Раз человек имеет возможность дотронуться, а челонек, простите за

такое сравнение, животное любопытное, — и тут же, чтобы прямо — раз! и разложили перед ним, и разжевали, и конец, чтобы никаких сомнений, тогда да, поверите, не так ли?

— Смеетесь надо мной?

— Смеюсь? Над вами?.. Да что вы!.. Когда даже Барбюс увидел в нем идеал человечности. Ну, так после этого разобраться?! Разберись-ка! „Человек с головой ученого, с лицом рабочего, в одежде простого солдата“. Во как здорово, правда? Ну, и далее, припоминаю еще и такое: „его открытая сердечность“, „его доброта“,... Во как! Также и еще кое-какие характерные черточки добряка: „его веселость“, „он смеется, как ребенок“, „он отец и старший брат, действительно склонившийся над тобой“, „вы не знали его, а он знал вас, думал о вас“... Какой пассаж, не правда ли? Это я Барбюса на память цитировал.

— Я понимаю.

— Вот, понимаете? Ну, и довольно шуток. Я далек от мысли, что человек с такой душой и таким умом как Барбюс погрешил против снющей совести. Здесь все дело в том, что наблюдает человек, что он видит, как сопоставляет положение вещей. А как же? Здесь уже не теория, а Париж. И он вот смотрит: Париж очень хорош весною — все в цветах, все благоухает. Сколько удовольствия — описать невозможно. Идут всевозможные операции. Все не объять. Да, да... Богачи, сигары, коньяк „Наполеон“. Так запросто, шик, блеск, полуголые девицы в обнимку с распутными стариками поднимают ноги выше головы. Теперь представьте в этом антураже коммуниста Барбюса. Чего же еще наглядней нужно? Иной наш человек порой читает, слышит об этом, и как-то безо всякой, так сказать, демагогии, как-то непонятно все это ему, вроде на другой планете... И точно, другая планета и другие люди с другими представлениями о долге. Сквозь всех нас проходит нить, объединяющая нас в едином чувстве: наша великая цель. Теперь представьте себе, как может Барбюс усомниться, что во главе таких людей не тот человек... А те, кто разобрались, задумаются — ведь в такой момент разоблачение его равносильно нашей гибели... Ну, хватит, давайте прогуляемся по камере...

— Странно, — сказал он, слезая с нар, — почему Добряк не выпускает на прогулку? Давно пора! А вы, может, еще поспите, а? Ведь не выспались.

Я остался на нарах. Спит вблизи меня Сергей Иванович, обхватив жилистыми ручонками вместо подушки вещевой мешок.

Кондратьев засеменил по камере. Мне не хочется ни о чем думать. Закрыв глаза. Сплошной гул голосов. Доносятся обрывки фраз. Каждый свое:

— Тот болван сидит, дюжина карандашей, не приглашает сесть...

Неприятно?

- Неприятно...
- Э, Вася, и хваленый Яков Аркадьевич громил...
- Кого?
- Да Вавилова.
- Чего ты на меня смотришь?
- Да, да, да! Именно так: если за столом сидят шесть комиссаров, что под столом? — Двенадцать колен Израиля.
- Нет, послушайте, с той стороны лай собак, целый хор.
- Собак?
- Какая редкость — лай собак!..
- Они говорят: у нас есть свои соображения.
- Они скажут: знаете что, идите вы к ...
- Но тоже в двух словах нельзя сказать... Я не знаю, что такое хорошо...
- Вообще, да...
- Вот про князя Мышкина мне хотелось сказать: он не показался вам наивным?
- Не показался.
- Но точно вы не можете сказать?
- Не могу.
- Но страдания должны какой-то предел иметь, или бесконечно?
- Не знаю.
- Вам не кажется, что через дверь все слышно?
- Ну, и пусть.
- Но может быть потому, что в тот момент, когда вы читаете, важно не то, что вы читаете, а то, что вы произносите, то-есть, как вы произносите... Чувствуется, что какая-то мелодия нарастает...
- В июле еще по Москве гулял...
- После кто-то сказал, что он был в Испании...
- Думаю, пока еще здесь...
- А не во внутренней?
- Думаю, что нет...
- Может быть потому, что он испытал такие страдания?
- Энтузиасты всегда без копейки денег.
- Видите, у него есть один недостаток. Я отношусь к этому недостатку снисходительно — он скуповат. Берет эту четвертинку, бутерброд или сосиски... Но самый интересный номер был с ним — он ожидал, что получит деньги... Совершенно другого содержания человек... Такая баба у него! И что получается? Пришли на свидание, а жена его стоит, жена! Он извинился перед ней,

понимаешь? Извинился!.. Все дети учатся. Но пять детей. В девять часов комната закрыта — они все спят. Тоже ведь жизнь!.. Тоже неплохо. Иногда у них гости бывают, у них все в порядке — холодец знаешь!... Дети все отличники, один, правда, с рогаткой по окнам, а остальные кончают на отлично ...

— Я не понимаю, куда он ведет?

— Тс-с-с, помолчите...

— Зачем вам была такая нагрузка?

— Ну, для того, чтобы...

— Глупенько...

— Ну, так, ну, что говорить...

— Я думаю, что если мужика организуем...

— Помните?... Он сказал такую вещь: десять, пятнадцать лет правильных взаимоотношений с мужиком и победа мировой революции обеспечена...

Вдруг от двери голос: Больные есть?

Пресекся гул. Буквально через миг: Есть... есть... есть...

И снова затихло. Голос от двери:

— Подходите, кто больной.

Засуетились. Очевидно, потянулись к дверному окошечку. Запахло лекарствами. Кто-то осторожно тронул меня за плечо. Открываю глаза. В самое лицо уперлась борода Пучксва-Безродного. Старик лукаво улыбается:

— Разбудил?

— Да я не спал.

— А я хотел вам предложить полюбоваться очаровательной, очень пикантной дамой, брюнеткой... наш ангел-хранитель... Она хорошо лечит нас. До нее был старик с грязной бородой, все кричал: „лякарства, лякарства“, а она классная женщина со всеми формами, и особенно хороши очень глаза, темно-серые с большими ресницами... Приятно на нее смотреть.

— Меня это мало пока тревожит, — отвечаю я старику, приподнимаясь на своем месте.

— Отлично понимаю, — говорит он несело. Просто трудно представить, что не более суток назад вы наслаждались жизнью... Во всяком случае в процентном отношении прекрасный пол преобладал... Вы заноситесь только зря (тут старик хлопнул меня по спине) — человек двадцати лет, в расцвете сил... Мы, да, совсем не то... Силенки уже не те... А в вашем возрасте женщины очень любили, и сам любил хорошеньких женщин, а теперь песенка спета... силенки далеко не те... И все-же по-стариковски сердце замирает... Дело-то какое — подышу дамским озоном...

Он зажмурил глаза и почесал свой голый череп. Далеко не по-стариковски ринулся с нар к дверям. Это жилистый старик, как на шарнирах. И флотский клеш, и незастегнутый китель, и тяжелые незашнурованные башмаки — все, как на шарнирах.

Пробиться к окошечку трудно. Облепили со всех сторон.

Идет выдача капель, порошков, таблеток. Старик должно быть здоров и в лекарствах не нуждается. Но он захотел хоть глазком глянуть на очаровательную особу. Снова залез на нары, привстал на цыпочках, прислонился к стенке

у двери, весь изогнулся и впился в окошечко. Я машинально поднимаюсь на ноги. Люди у дверей доверчиво, ласково смотрят на миловидную женщину лет двадцати вссьми в белоснежном халате и белой косынке. Она очень мягким движением рук капает из пузырьков в подставляемые кружки, так же мягко кладет в протянутые руки таблетки. Странно видеть такое нежное лицо с красивыми глазами в такой обстановке.

Из-за ее плеча осторожно улыбается остроглазый Добряк. Передает через окошечко карандаш и какие-то бумажки. По камере шопот:

— Лавочка?

— Ну, это да!

— А!

— Добряк молодец!

— Успел все-таки!

— Всегда в его дежурство лавочка!

— Сегодня не успеем.

— Сегодня заполним — завтра получим.

— Наверное!

— Не наверное, а точно.

— Как с прогулкой?

— Сказал, что вызовет...

В это время раздача лекарств закончилась, захлопнулась дверная фрамуга и камера опять загудела. Я опустился на нары.

— Товарищ Бочаров, — раздался резкий голос старосты, — прочитайте всем прейскурант лавочки... Товарищи, кончайте разговоры.

Все замолкли. Приподнявшись у стола, Бочаров стал читать:

— Хлеб черный заварной, батоны по рублю семьдесят — неограниченно, без лимита; масло сливочное пятнадцатирублевое по 500 грамм, „Крыжовник“ — конфеты без лимита; колбаса десятирублевая по 300 грамм; папиросы „Бокс“ 35 копеек пачка, „Дели“ — 65 копеек без огравичения; помидоры соляные, чеснок, лук, спички, мыло „Земляничное“, мыло хозяйственное, зубной порошок, зубные щетки, полотенца вафельные, портянки фланелевые...

Вдруг оборвалось чтение. В дверях загремели бачками, мисками. Бачки сразу же подтащили к столу. За столом бок к боку человек днадцать уселось. Остальные на нарах и под нарами.

Ложки у всех наготове. Опять голос старосты:

— Володя, ударное задание — становись на раздачу.

Вынырнул откуда-то спортсмен Володя, взялся за черпак. Ко мне подсел старик Пучков-Безродный.

— Что тут поделаешь? Нигде так есть не хочется, как в тюрьме, кроме шуток, — с усмешкой прогонорил старик.

Нам протянули миски с супом.

— Нет, так нельзя, обожжетесь, возьмите полотенце, — предупредил старик. Сели на корточки, припали к горячим мискам. Старик прав: дома не едал с таким аппетитом, как этот тюремный суп с рыбьей требухой. Вкусна оказалась и каша — шрапнель на каком-то жире. Пучков-Безродный положил ложку, покосился на пустые миски, добродушно заворчал:

— Нечувствительно что-то. Не отказался бы от добавки. Ну, что же теперь делать, придется терпеть до ужина, а там еще черпачок каши дадут... Такие-то дела, — вздохнул он, отодвигая миску...

Так можно прожить очень долго. Уж год здесь доканчиваю, был в пересылке, а потом на доследствии; думаю, что и наступающий тридцать девятый здесь встречу... Так еще можно жить... не только лежать, воевать на таких харчах можно...

Он прищурил глаза:

— Хорошо бы теперь колбаски. Ну, ничего, завтра полакомимся.

Затеребил бороду, усы, вдруг спросил:

— А у вас деньги при себе были?

— Отобрали 50 рублей.

— Очень хорошо, могут еще сегодня выдать квитанцию, как раз подоспеет к лавочке. Не горюйте, вам везет — полный комфорт. А если не подоспеет, у нас комбед имеется.

— Какой комбед?

— Погодите, разъясню, что такое в наших условиях комбед...

На данном отрезке времени такие номера откалываются, что бесполезно возмущаться: жены отказываются от мужей, дети от отцов, друзья-товарищи прорабатывают тебя, поди-ка не знаете?

— Знаю.

— Очень хорошо, что знаете. И я знаю, сам прорабатывал... Так что всем нам тяжело. А у кого некому позаботиться и передать раз в месяц 50 рублей, еще тяжелее. Оттого-то мы здесь и порешили, что так оставить нельзя. Не всякий станет принимать подарки от тех, кого родные не забыли... Ну, всем миром, у кого ва счету есть деньги, отчисляем по два рубля каждую лавочку, и человек не унижается подачками, и все на равных правах могут купить в лавочке на 23 рубля... Хитрая штука!

Я хватаю старика за руку: очень мудро!

— Какая мудрость, — проговорил он вдруг упавшим голосом, — тоска одна...

Арестантская традиция солидарности.

Старик примолк. Я оглянулся вокруг. Теснота. На каждые тридцать сантиметров по человеку. Кто сидит на корточках, кто лежит, подняв ноги, кто — на боку... Кореиастый толстощекий человек, расстегнув брюки, садится на парашу. За столом что-то высчитывают на бумажках. Судя по всему, работает лавочная комиссия.

А у краешка стола, подперев голову, сидит Кондратьев. Углубился в книжку. Пучков-Безродный с грустной улыбкой смотрит на меня.

— Скажите, — спрашиваю я, — что за человек, по-вашему, Кондратьев?

— Настоящий человек! — твердо отвечает старик. — Один из самых благороднейших здесь людей... Что вы меня-то спрашиваете, вы с ним разговаривали?

— Поэтому и интересуюсь.

— Это другой разговор. Сейчас вкратце постараюсь разъяснить: короче — страдающая душа, но без отчаянья и пессимизма...

Сильнейшего характера человек. Пожалуйста, обращаю ваше внимание: здесь немало тех, кто шел в атаку, гремел кандалами, но тем не менее, только двое из ста выдержали и не подписали всякую фигию. Надо сказать, сильнейшая натура... Один — Кондратьев, а другой у самого окна лежит. Трудно было бы поверить, до чего бессмысленство дошло, — соратник Эрнста Тельмана, — Карл Поддубецкий.

Старик нервно дернул бородой.

— Да, что ж я еще хотел вам сказать?... Да, про Кондратьева. Это сила, без всяких штучек-дрючек. Пора все штучки-дрючки отбросить, поскольку мы уже прошли этот этап. Наиболее характерно, что такие как Кондратьев ничего не хотят для себя.

— А что он делал до ареста?

— Он не делал вокруг себя шума. Дальше: думаю, что несъ отдавался нашему общему делу. Словом, не норовил в сильные личности. Такие есть дешевые актеры — любят позировать. Я не располагаю подробными данными, но, во всяком случае, человек — что надо, в буквальном смысле этого слова.

— А как же остальные?

— Вы видите, какой сложный вопрос задаете. Мы все слабей его оказались. И не разберешь, что творится с нами. Сам не пойму. Страх? Если страх, то только не животный. Страх неожиданного, непонятного. Ну, тут это самое... Нет, все не то...

Я окунулся в борьбу почти мальчишкой, ну, и после десять лет в центре, в одиночке, потом революция, в Гражданскую войну работал в трибунале, ну,

а потом, последнее время, в Наркомводе. Здесь Гладько... вместе с ним трудились. Видите, какая штука! Член общества старых политкаторжан и ссыльных поселенцев. А здесь получил сразу же по морде. Анекдотичный сморчок, маленький, беленький, несъ белобрысенький, на поросеночка похожий; и сразу, не разговаривая, — по морде... Совсем пацан. Мальчишки, которых мы растили совсем для других целей, могут бить старых революционеров, плевать в лицо... Попытки, но если за идею, — то можно выдержать. Здесь — за что? То же самое происходило и с другими. Там в углу пять месяцев провалился Бруно Ясенский.

— Как, Бруно Ясенский? А где же он теперь?

— Неизвестно, неделю назад забрали с непами. Все Володю Кудина образовывал. Любознательный парень Володя. Да, к чему я клоню? Да, про Бруно — симпатичнейший человек! Кому из этих архаровцев важно это? Думаю, что не задумываются. Взяли обыкновенную палку и лупили. Не здесь. Здесь не лупят. В Лефортово. Там у них свобода. Допрашивают целой бригадой. Они его хватают за плечо и сразу за обе ноги, ну, подумайте! Или налетают со всех сторон, или толкают человека, как мячик, топчут ногами. Лишится чувств, тут же врач: приведет в чувство, и опять жмут дальше. „Ах, твою туды-расгуды, — сознавайся!“ И, главное, народ-то не услышит наших стонов. Рядом с тюрьмой, будто нарочно, чтобы не было слышно криков, круглые сутки гудят моторы ЗОКа — завод опытных конструкций ЦАГИ. Все заглушает их шум. Даже стекла в окнах дрожат. Сдаваться не хочется, а что сделаешь? Доведут. Раз взялись, доведут дело до конца. Вот какая штука-то! В арсенале масса каверз. Доведут человека до бессознательного состояния и тогда суют, прямо на полу, ручку: „На, подпиши, что просишь разрешения чистосердечно давать показания“. А потом, дня через два, снова вызовут, и тогда уже наступает самое страшное: давай показания на других — на друзей, на знакомых. Вот это широкая кампания! Любят массовость, но всяком случае, в процентном отношении план перевыполняется...

— Да неужели все это планируется?

— А как же... Представьте себе такую ситуацию: допустим, следователь не будет выдавать продукцию. Как вы думаете, погладят по головке? Не беспокойтесь, будь здоров, сразу к нам в товарищи попадет. Короче: милая профессия. Эти парни невозмутимы, никаких эмоций. Одна только эмоция — выбивать показания. „Слушайте, Пучков, давайте, соедините эту фамилию с этими фамилиями“. Примерно таким образом Бруно Ясенский проходит по одному делу с секретарем польской компартии Домбалем. С ума сойдешь! Что ни дело, то роман!.. Ну, как, нужно еще загружать всем этим вашу голову?

— Нет... прошу вас, все-таки кое-чему научусь. Буду знать, как себя держать.

— Оно, конечно, так. А вы знаете, честно говоря, теперь может был бы умней. Сами подумайте: схватили с постели тепленького и сразу в резку. В том-то и сила — в неожиданности, а пообвыкнешь, — легче во всем разобраться. Был такой случай, когда человеку можно было пролить свет, но не таковский характер оказался. Вернее, все у него делалось без участия головы. Тут бесполезно возмущаться. Если хотите, здесь язык действовал без участия головы. Сидел в нашей пятьдесят четвертой камере секретарь Горьковского обкома партии по фамилии Столяр. Его после Жданова поставили, а до того в Свердловске он был. Ну, из Горького Столяр попал сюда, сперва в Лефортово. Там он пишет свои показания. И далее полным ходом пошли и Горьковской области аресты. Живут люди, ни слухом, ни духом ничего не ведают, а их начинают хватать, а Столяра после трудов тяжелых переводят на отдых в нашу камеру, и он за вот этим столом сидит себе и попивает чай с лавочкой. И однажды забирают его без вещей. Значит, вызвали зачем-то во Внутреннюю или на Лубянку. Два дня его не было. И вдруг открывается дверь и появляется Столяр. Мы тут уж горим нетерпением, расспрашиваем его, как и что...

„Что мне вам сказать, — говорит Столяр. — Привезли в Наркомат, повели сразу в душ, постригли, побрили и, представьте себе, с одеколоном, хорошо покормили, а на следующий день часов так в двенадцать понесли наверх; заводят в большой кабинет, а там за столом сидит Жданов, и тут же присутствуют руководящие работники Наркомата. И все н упор смотрят на меня...

Жданов тоже посмотрел на меня и говорит:

„Послушайте, Столяр, я с личного ведома товарища Сталина приехал сам убедиться в подлинности ваших показаний. Случай чрезвычайной важности. Я многих людей, на которых вы дали показания, знал лично продолжительный период времени. Отвечайте: вас никто не принуждал давать показания?..“

Теперь понимаете, какой случай был от нсего отказаться и пролить каплю света? Что же отвечает уважаемый товарищ Столяр? Здесь-то и начинается полная нелепость, полный вздор.

„Я могу только одно сказать, — отвечает Жданову Столяр, — то, что я показал, правда“.

Видите, какая штука? Великолепный товарищ! Умрешь прямо!

— Но как же так?

— Отлично понимаю ваше удивление. Сам удивляюсь до сих пор.

Думаю, что кроме глупости и трусость была. Дико напуган был... Боялся повторения. Он нам объяснил, что дал честное слово начальнику следственного отдела, который тут же, при разговоре с Ждановым присутствовал...

— Какое честное слово?

— Честное слово коммуниста.

— Бред какой-то!

— Бред, а что поделаешь?.. Я теперь все понимаю, но вот этого никак понять не смог... Понимаю, что могут пришить что попало, зашмыгают тебя до основания, но тут поражает не то. Знают, с кем имеют дело, а то бы не привели его на беседу. Он все пытался нам объяснить, что есть разное понимание правды, и кое-кто с восторгом его здесь поддержал...

— Кто же?

— Рафес, разумеется. И еще кое-кто нашелся. Тешат себе совесть. Вы можете себе представить две правды, а? Правда бывает одна, только люди разные. Да. Товарищи дорогие — все разные...

Как по заднице дадут, сразу в карлика превращается, а признаваться в этом неохота, ухватиться вроде не за что. Умрешь прямо!

— Господи, что за манера всегда ехидничать!

Полуобернувшись от открытой параша с укоризной смотрит на Пучкова тот старик, которого я еще раньше приметил, когда он драил до блеска свою кружку. Захлопнув крышку параша, старик подошел к нам. Как бы про себя тихо сказал:

— Я... я вот здесь стоял и слышал. Как можно кого-то осуждать?

— Я не осуждаю, Леонид Михайлович, просто возмущаюсь глупостью Столяра. Вы не помните историю со Ждановым?

— Помню, помню, — затряс головой Леонид Михайлович.

То-то вот и есть, что осуждаете, нельзя же так! Неразумного человека судить. И отчего вы все друг друга судите?.. Ну, и что хорошего?.. Все здание на песке... Ну, пойду, пойду я...

Старик дрожащей рукой перекрестился и медленно засеменил от нас.

— Не знаю, чем объяснить? — понизив голос почти до шепота, проговорил Пучков-Безродный. Не понимаю этих предрассудков у такого образованного человека... Старая закваска, не переделаешь. Разные люди, все разные... Ближе познакомьтесь с некоторыми, сами убедитесь. Каждый неповторим в своем роде!..

В этом Леониде Михайловиче есть что-то притягивающее, но старикашка безрассуден в своем евангелизме, ослеплен и оторван от жизни. Есть и другого рода слепота. Я расскажу вам другой случай, как факт, что слепота бывает разная, несколько в другом плане. Сейчас мы с вами рассуждаем, и вы не возмущаетесь...

— Как не возмущаюсь?

— Погодите, милейший, мне кажется, что вы верите в то, что я говорю.

— Какое основание не верить?

— Очень хорошо. Я потому и говорю... А теперь скажите: читали учебники по политграмоте?

— В свое время читал.

— Чей?

— То-есть как „чей“?

— Ну, какого автора?

— Керженцева и Леонтьева.

— А, да, стоящая штука, но это пособие по ленинизму, а то политграмота была Ингулова, читали?

— Ну, знаю...

— А вы знаете, этот Ингулов сидел с нами здесь.

— А теперь что с ним?

— Трудно сказать, приблизительно 15 дней, как забрали...

Чистое наказание с ним было. Вы же представьте себе, в первые минуты, как попал в камеру, боялся всех, как огня, считал всех врагами народа. Притулился к самой стенке и ни с кем не желал разговаривать. Дескать, я здесь человек временный, попал сюда случайно и не хочу с вами знаться.

Мы и решили: хорошо, отлично, голубчик, вызовут на допрос, раскусишь, что к чему. И вызвали буквально сразу же. А там такая комедия произошла: вводят его, сидят два архаровца:

„Ну, чего глаза вылупил?“

„Я Ингулов, автор политграмоты.“

А они чуть животы не надорвали... хохот... Умрешь прямо!

„Цыц, Ингулов! Марш в угол!“

А потом — бах, шарах по морде, заплевали ему все лицо...

Ну, и сразу стало все понятно, враз поумнел, вернулся другим человеком:

„Дорогие товарищи, я же не знал...“

Вдруг, как-то внезапно спохватившись, оборвав на полуслове свой рассказ, Пучков-Безродный сползает с нар к параше.

Вокруг гул голосов. Люди коротают время в разговорах. Рядом со мной тоже перекидываются всякой всячиной. Среди гула слышу:

— Ухо полметра... голова уже сделана...

— Ее тоже будут отливать в бронзе?

— Да.

— Сколько же частей будет в голове?

— Я не знаю, но колоссальная работа, самый большой монумент...

— Так что это будет прообраз по-существу?

— Скажите мне лучше, сколько стоит?

— Сумма астрономическая...

Возвращается от параша и снова усаживается рядом со мной Пучков-Безродный.

— А теперь мы покурим, угощайтесь, — заулыбался он, поднося кожаную папиросницу.

Закурили. Вдруг Пучков обернулся. Прислушивается. Я тоже оборачиваюсь: сдвинуты друг к другу головы, между ними, вытянув тоненькую шейку, Сергей Иванович дрожащим от волнения голосом полупшепотом читает Некрасова:

...Эту привычку к труду благородную
Нам бы не худо с тобой перенять...
Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.
Да не робей за отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет все, что господь ни пошлет!

— Вынесет все... Тут вдруг губы Сергея Ивановича задержались, он остановился, но в тот же миг взял себя в руки:

Вынесет все, и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется ни мне, ни тебе...

Пучков-Безродный покачал головой:

— Жаль, что не придется.

— Что вы сказали?

— Сказал, что не придется... Мне-то уж во всяком случае... Шестьдесят лет — не двадцать...

— Почему же? Еще поживете лет тридцать...

— Спасибо. Там бы, пожалуй, прожил бы, а здесь считай за год десять лет долой.

— Скажите, по-вашему, все погибло безвозвратно?

— Ух ты черт! — старик вдруг выпрямился, держась рукой за доску нар.

— Зачем бы я стал вашу голову мутить! Это было бы слишком... вроде Леони-

да Михайловича — все валить в одну кучу. Да будет вам известно, что по натуре я оптимист. Вы что же думаете, что я могу сказать, что все здание на песке? Нет уж, дудки! Шалишь, нас не собьешь...

Старик вдруг качнулся и тут же схватился за нары. Меня поразила необычайная перемена во всем виде этого насмешливого и, как мне показалось, не совсем серьезного человека. Лице его очень побледнело и как-то странно оскалилось.

— Я так полагаю, — проговорил он, тяжело дыша, — надо только не терять точку опоры...

— Можно мне спросить?

— Какой разговор, спрашивайте.

— Мне показался схожим ваш строй речи с речью Кондратьева. Тут как-то словно один человек...

— Вообще, честно говоря, на данном отрезке я на все смотрю его глазами, даже чудно: говорю его словами, а вы вот что, вы еще очень молоды и находите в себе силы бороться за свою правоту, берите пример с Кондратьева.

— Советуете держаться до конца?

— Не могу советовать другое, с меня пример не берите, уже силёнки оказались не те, и я еще всего не знал, а для вас единственная мера борьбы — держаться, пока хватит сил.

Старик вдруг обернулся.

— Беседуете? — любопытствует остроносенький Сергей Иванович, подвигаясь к нам.

— Да, — усмехается старик Пучков, — что остается делать? Все об одном и том же, материала до черта.

— Что же? — морщится Сергей Иванович, — справедливо. *Cogito ergo sum* — я мыслю, следовательно, я существую.

— У вас есть курить? — обращается он к Пучкову.

— Какой разговор? Курите!...

Старый политкаторжанин протягивает ему кожаную папиросницу.

— Скажите, дорогой Сергей Иванович, — ласково глядя на него, спрашивает Пучков, — просто не пойму вашу хандру, нам улыбающиеся люди нужны.

— Знаете, я вам не помощник, товарищ Пучков. А настроение тяжелое... Вы хоть понимаете, какое оно должно быть на осадном положении? Не желаете понимать, что можно обойтись без смеха.

— Ну, к чему, Сергей Иванович? Не хотел вас обидеть.

— Неужели вы думаете, что я способен на вас обидеться?

— Ну, это уж слишком, Сергей Иванович.

— Слушайте, у вас есть нервы?

— А как же!

— Тогда простите... Да, настроение тяжелое, по внуку скучаю. Вы тоже должны меня понять.

— Отлично понимаю, такая тема не требует пояснений. Отлично все понимаю.

— Тема сугубо личная, но как подумаешь, просто чудовищно... очень страшно было с близкими расставаться. Всяко на моем веку бывало, привык я и не к таким встряскам, только досадно подумать, за что на мою долю их так много выпадает.

Сергей Иванович беспомощно посмотрел на нас.

— Да что говорить... Мы жили одной семьей — я с женой и сын с невесткой и внуком. Мальчишка просто прелесть, умный парень... должен учиться в седьмом классе. По физике у него пятерка, по алгебре, по геометрии, а вот пение не любит, не любит, чужак. Я ему отдельную комнатку устроил, в доме уж сам все делал, там у него паяльник, тисочки, пассатижики, мы с ним динамо крутили рукой, ...как накрутимся. Очень радио любит — сам собрал радиоприемник. В электрокружке занимается, в Доме пионеров. Я помню, мы с ним кота мыли: нальем ванну, и туда его, окатим с ног до головы, ох, смешно, кот глаза выпучит, глаза большие, смотрит... И вот, свалилось несчастье — я здесь, а сын с невесткой из-за меня тоже получили путевку в жизнь. Он где-то на Севере, а она в другой части Союза, где-то под Уфой. Только я не знаю даже где они теперь, что с ними. Эх, у меня такое предчувствие — сердце сжимается.

— Ну, что это такое! — вырывается у меня.

— Вам в новинку, — вытянув шейку, проговорил Сергей Иванович, — а я уже хлебнул лагеря, как подумаю о них, сердце сжимается. Там порядки такие: зима, на улице мороз до сорока градусов, одеты плохо — телогрейка второго, а то и третьего срока, на ногах ватные бахилы и резиновые чуни... Когда привезли, там ничего не было, кроме леса. Потом сами железную дорогу провели — сто шесть километров. Примерзали пальцы к железу, уставали адски, а потом еще идешь по ледянке, часам к десяти вечера к зоне приплетались. Как пришел, как сел, — не могу встать... На пути каждую минуту останавливают, пересчитывают... Даже не знаю, что с ними теперь...

— Не убивайтесь, — вцепился в его руку старик Пучков.

— Я хотел только, товарищ Пучков, сказать: ведь всякое может случиться, ведь так?

— Не убивайтесь, поговорим лучше о чем-нибудь другом.

— О чем же?

— Например, попросим нашего молодого друга рассказать о положении на историческом фронте.

Вдруг старик Пучков закивал кому-то головой.

Неожиданно перед нами вырос Кондратьев. Он наклонился к старику. Старик радостно отозвался:

— Да-да... ну, дело-то какое... как хорошо, посидим, потолкуем.

Сергей Иванович пододвинулся немного, и Кондратьев опустился рядом с ним.

Облокотясь о колено, подпер рукой подбородок:

— А можно спросить, насчет чего разговор?

— Все о том же, — завертелся Пучков-Безродный. — Все о том же, что тут поделаешь? Ничем другим голова не забита... таких условий не сыскать нигде..

— Думаю, что для этого нас сюда и поместили... Сейчас такая политика — знай, сверчок, свой шесток...

— Ну? — перебил его Кондратьев.

— Нет, он правильно говорит, — сощурился Сергей Иванович.

— Ну, и что?

— Как что?... Иезуитство, бандитизм — вот что.

— Об этом можно не спорить — до крайности безотрадная картина. Да, нам нелегко было понять, что его деятели те, кто кулаками могут стучать...

Кондратьев повернул голову ко мне:

— А можно будет историю в конкретном смысле?

— Что вы подразумеваете?

— Учебник Шестакова.

— Почему учебник Шестакова?

— Кажется, вас просили об этом... Вы его читали?

— Как же я мог не читать?

— Ну, и что, в восторге?

— Нет, не в очень большом, для старших классов он не годится.

— Только для старших? Ну уж, что вы, что вы! Признаюсь, давно такой гадости не читал. За несколько дней до ареста говорил с одним товарищем-икапистом; и, — увы и ах, — и он ничего не понимал.

— Нашли новое средство воспитания соответствующих эмоций? — прищурился Сергей Иванович.

— Да нет, так, — мешанина из Платонова и сказок Иловайского, пошлость редкостная.

— Видите, какая штука! — оглаживая бороду, задумался Пучков-Безродный, — стоило ради этого смешивать с дерьмом Михаила Николаевича Покровского?

— Ну вот, вот в том-то и дело! — подхватил Кондратьев, — и нашлись оборотистые молодцы, которые удивительно здорово помогли в этом.

— Кого вы имеете в виду? — спросил Сергей Иванович.

— Карла Радека и Николая Ивановича Бухарина.

Сергей Иванович даже вздрогнул.

— Товарищ Кондратьев!.. Не кощунствуйте! Николай Иванович своей жизнью заплатил, это жестоко...

— Вы говорите, жестоко? Вы, вероятно, в январе тридцать шестого уже в лагере сидели?

— Сидел, а что?

— А то, что не могли почитать их художеств в „Известиях“ и „Правде“, а я читал и удивлялся. Природа памятью не обидела, запомнил, как они без стыда и совести расправлялись с покойным Михаилом Николаевичем, политический капитал наживали. А вы помните, как за четыре года до этого Бухарин распинался на Красной площади перед прахом Михаила Николаевича Покровского? „Товарищи, сегодня мы хороним Михаила Николаевича Покровского... это был крупнейший теоретик... Как историк он был самым выдающимся, первоклассным историком в России... Как ученый Михаил Николаевич имеет мировое имя!“ Ну, так вот — курьезная вещь — не успели, так сказать, и башмаков сносить, как поспешили погреть руки на костре из останков почившего товарища и друга. Так трогательно, просто сил нет. Взял одну газету — статья Бухарина. Читаю, глазам своим не верю: „Покровский наивно не замечал, что он впадает в субъективную социологию, в сорелевское социальное мифотворчество, в своеобразное бергсонизанство и вульгарный волюнтаризм, что он хоронит историю как науку“. Вы смотрите, как получается! Каков эквилибрист! Какое нагромождение слов! Открываю другую газету: Радек. Этот молодец еще чище дает: „Вождь и теоретик партии товарищ Сталин бросает глубочайший исторический свет на природу и на тенденции развития крестьянского вопроса...“ Здорово, не правда ли? И все люди читают и думают: раз умницы пишут, значит, так оно и есть. Ну как, чтобы после этого разобраться? Но как, обезьяна, ни вертись, все равно попка голая. Вот и попались в тот же клубок, и все шито-крыто... А вы говорите: кощунство!

Сергей Иванович слушает, опустив голову. Наморщился остренький носик, глаза сузились.

— Гадость какая. Какая гадость! — зашептал он, мотая головой.

Кондратьев, крепко обхватив колени, смотрит на него.

— Что, переживаете? Не переживайте. Что делать? Каждому из нас свойственно ошибаться в людях.

Пучков-Безродный как-то странно торжествующе ухмыляется в бороду. Сергей Иванович покосился на него:

— Чему вы рады?

— Люблю ясность, не удивляйтесь, — люблю.

— Пожалуйста, прошу вас... не надо так... Нехорошо... Все таки я не вижу повода к радости. И (он опустил голову) ...не вполне все ясно.

— Говорите, не вполне все ясно? — удивился Кондратьев. — Да, сильная вещь схоластика. Для иных очень заманчиво...

— Что вы этим хотите сказать?

— Будет вам, Сергей Иванович, вы что? Вы-то уж должны во всем разобраться, а? Ну, что говорить? Соберите все в один комок! Такие молодцы — вся их жизнь ушла на геометрические построения. Ясно?

— Не очень.

— А вот интересно. Я вам хочу задать вопрос: как вы их рассматриваете?

— Вам хочется знать мое мнение? — раздраженно спросил Сергей Иванович. — Я двадцать лет был в партии, критиковал их за ошибки... Но подумайте, каким авторитетом они пользовались у рабочих, у молодежи. Люди громадного ума, громадных знаний... И, если хотите, — режьте меня на куски, — диву даюсь. Не понимаю, неясно.

— Ах, вот что! Не ясно? Мне-то вот до такой степени ясно, что противно доказывать. Смотрите, люди огромного ума, огромных знаний, а? Шарлатанство, фикция, а не знания...

— Товарищ Кондратьев, нехорошо, несерьезно.

— Очень даже серьезно. Здесь дело в том, что в наш просвещенный век они слышали не только об Эвклиде, но и о Лобачевском и еще кое о чем, а человек с головой ученого, не доучившись в духовной семинарии, дошел только до Эвклида. Малинин и Буренин, а потом прямо в Тифлисскую обсерваторию в качестве вычислителя-наблюдателя... Там бы ему и оставаться, ан нет...

— К чему вы это?

— А вот к чему: для него параллельные прямые не пересекаются, он прямо об этом заявил в споре с Бухариным. Иные в восторге были от такой простоты и ясности, а человек громаднейших знаний дошел до больших высот. Для него любая прямая на плоскости жизни, даже кулацкая, пересекается с любой прямой, даже бедняцкой...

Сергей Иванович молчит. Старик Пучков закручивает усы, оглаживает бороду.

— Ну, дальше. Только не говорите, Сергей Иванович, что это несерьезно. Вот сейчас еще яснее будет. Им не дорог человек — шахматная фигурка, пеш-

ка... а что? Ну, и такую прекрасную игру затеяли, — любо-дорого. „Не маленькие, понимаем и в дебюте и в прочем“. Только не с тем игроком связались, хитрюгой оказался. Остроумнейшая комбинация, огромный успех, точный расчет, удивительное комбинационное чутье. Гений практической игры.

Ловко их провел. Сначала ходил бесшумно, а затем стремительно использовал дебютную ошибку противника и быстро матовал, причем для достижения мата не стеснялся пожертвованием ценнейшего людского материала, и наплевать ему было на то, что десять-пятнадцать лет правильных взаимоотношений с мужиком — и победа мировой революции обеспечена, наплевать на образование позиционных слабостей в собственном лагере. Игра ва-банк! Помните, как у Пушкина в „Онегине“:

Мы все глядим в Наполеоны:
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно,
Нам чувство дико и смешно...

А эти молодцы — их сразу не поймешь. Все у них рассчитано на служение своему „я“. Они были так убедительны, а по-существу — фикция, оказались солидарны с палачом.

Сергей Иванович только с удивлением смотрит на Кондратьева и молчит.

— По сути дела, — продолжает Кондратьев, — такую пилюлю всем нам подложили, что становится страшно. И это очень хорошо гармонировало с замыслами человека в одежде простого солдата. Теоретически обосновали варварские методы...

— Позвольте, — перебил Сергей Иванович, — где и когда?

— Об этом мы уже знаем, где и когда (нижняя губа у Кондратьева выдалась вперед), — одну минуточку, вы слушайте меня, я буду рассказывать. В этих же газетных статьях против Михаила Николаевича все здорово у них получилось. Эх, Сергей Иванович, Сергей Иванович, ну что вы вздыхаете? Не совсем верите, да? Вы лучше слушайте внимательно. Они сами виноваты — нечего было морочить людям головы. Как у нас выражаются: фронт работы у них открылся — почувствовали себя на коне. Но конь такой дохлый...

— Да, дохленький, — ухмыльнулся Пучков-Безродный.

— Ну, так вот, — продолжает Кондратьев, — Михаил Николаевич утверждал, что наука должна распутать наслоение лжи. Общественное познание должно проходить сквозь призму нашей морали. Совестью повторять прописные истины, но такие истины не входили в расчеты повара, готовящего острые блюда. Чтобы увидеть тьму нужен свет, а у него голова для интриг, а в душе такая

мгла, такие коварные штуки... Сидит, покуривает трубочку, за ниточки дергает, получает сводки, а наши умники тут как тут, готовы услужить, теоретическую базу подвести. Их не поймешь: в глаза ему — си-си-си, а за глаза — другое. В общем, нетрудно понять — задались целью: любой ценой оплевать ученого с мировым именем. „У Покровского, мол, нет и намека на познание объективного исторического процесса“. Все ясно, а? А в чем все-таки суть?.. В чем так сказать, гвоздь? А в том, что Покровский не хотел признать всех „прелестей“ Петра, не славословил резню. Вот она где собака зарыта! При этом ваш универсал Бухарчик прикрывает свои софизмы ссылками на Маркса и Энгельса. „У Покровского боязнь по-настоящему признать прогрессивную деятельность Петра Великого, вопреки Марксу и Энгельсу, которые признавали положительное значение петровских реформ“. — Во, как вывернулся. А ослиные уши все равно выпирают. После каждой запятой жульничество... Ломал варварство? Ну, и прекрасно! Но какими методами? У наших учителей прямо сказано, что Петр боролся с варварством варварскими методами. Как быть? „Вот здесь желательно, чтобы не было второй половины фразы“, и тогда смысл получается такой, какой нам сейчас надо, а посему эту часть фразы опустим, чтобы прямо — раз! и конец, и готовый нравственный образец, и можно спокойно стряпать острые блюда.

Сергей Иванович, вздохнув, опустил голову на руки.

Мне захотелось задать Кондратьеву вопрос:

— Простите, так неужели после всего этого вы во что-то можете верить?

Кондратьев сощурил глаза:

— Ничего не скажешь, вопрос, так сказать, в лоб. Как и прежде, в партию верю. Партия выше личных целей честолюбия и власти. Неудачи неизбежны. Это жизнь, это люди, но, как писал Энгельс, — пролетариат, как и все другие партии, быстрее всего учится на последствиях своих же ошибок, и никто от этих ошибок не может его полностью уберечь. Еще Ильич говорил, что мы сделали и еще сделаем огромное количество глупостей.

— Да, это, пожалуй, верно, — тихо проговорил Сергей Иванович. Он хотел еще что-то сказать, но тут неожиданно отворилась дверь:

— Собирайтесь на прогулку!

Вскочил Пучков-Безродный, приподнялся Кондратьев, полез собираться Сергей Иванович, и я вслед за ними.

В коридоре загремели кованными сапогами:

— Ну, поторапливайтесь!

Пучков уже у двери. Запахнулся в морской бушлат, на лысую голову нахлобучил ушанку.

Подходят все новые — кто в комсоставской шинели, кто в демисезонном пальто, а кто в ватной телогрейке. Протиснулся вперед Островский. Легонько пальтишко подпоясал мохнатым полотенцем, весь сгорбился. Собравшиеся у дверей люди разбираются по два. Пара за парой проходят в коридор. — А ну, живей! — торопит надзиратель.

Вскочил с нар Кондратьев. На ходу, присев на колено, зашнуровывает башмаки. Копытит Сергей Иванович, обматывает пертянками тощие ножки. Наконец, и мы с ним у двери.

Два конвоира в белых дубленых полушубках отсчитывают выходящих: сорок восьмая, сорок девятая, давай, давай, не задерживай ...

„А ну, подтянись!“ Я подтягиваюсь.

— А ну, не оборачиваться!

Длинной цепочкой растянулись арестованные: передние уже на лестнице, а хвост еще в коридоре.

Я в паре с Сергеем Ивановичем. Впереди нас, поддерживая под руку Леонида Михайловича, семенит Кондратьев.

Прошли коридор, вышли на лестницу. Ступенька за ступенькой спускаемся вниз. Покачиваются пары, постукивают каблуки. Вдруг — стоп. Остановился Леонид Михайлович — одышка.

— А ну, пошел, не останавливаться!

Внизу в дверях снова отсчитывают. Наступая друг другу на пятки, выходим на прогулочный двор.

Глотаю чистый воздух. Вздогнул невольно: совершенно неожиданное в своей новизне черно-синее небо. Кажется высоко, а это еще куда-то выше, невероятно высоко.

Луна освещает мертвый двор. Тюремный корпус сливается с каменной оградой. В некотором отдалении другой корпус.

Пара за парой, нога в ногу, заложив руки за спину, шагаем по подмерзшему снегу. Ранняя зима тридцать восьмого года.

Поравнялись с каменной оградой.

Каменная ограда!

Если вдруг освободят — ближайшим путем дойду до центра, зайду в парикмахерскую и потом сразу на Арбат, сверну в Спасо-Песковский, потом в Трубниковский, подойду к своему подъезду, поднимусь на первый этаж... позвоню... и выйдет мама... и вот семейно за столом: я, мама, бабушка, дядя... Ограда. Вышки. На вышках похаживают часовые. Снова и снова шагаем по утоптанной тропе. Нарастает скрип шагов. Крепко подхватив под руку Леонида Михайловича, не попадает в ногу Кондратьев. Видно, жаль ему старика.

Хочется и старику подышать свежим воздухом — из последних сил поспевает за рвущимися вперед. Рядом со мной, вытянув шейку, подпрыгивает Сергей Иванович. Впереди всех, головным, Пучков-Безродный. Широким, бодрым шагом отхватывает круг за кругом. А головным рядом с ним марширует инженер Бочаров. Внезапно они сбавляют шаг и поворачивают к дверям тюремного корпуса — конвоир сделал им знак кончать прогулку.

Хорошенького понемножку, ведь есть и еще люди, с нетерпением ожидающие своей очереди.

Возвращаемся с прогулки. Миновали лестницу и повернули в коридор. У дверей нашей камеры стоит Добряк. Он вглядывается в лица и вдруг — прямо ко мне, протягивает две новенькие желтые бумажки:

— Вот, возьмите.

Я благодарно киваю и прохожу в камеру.

Только переступил порог, навстречу в распахнутом морском бушлате Пучков-Безродный. Поймал меня за руку, обнимает, трясет за плечи:

— Ну, чорт возьми, покажите, а-а, толково!.. Сразу две квитанции!

— Что же это значит?

— Как что? Что вас не забыли... Поди-ка матушка?

— Очевидно, мама или дядя.

— А у чужих и не примут... Ну, вот, кто был прав? Да, товарищ дорогой, вечная правда — материнская любовь — сразу весточка из дома...

Мы стоим с ним в проходе между нар. Кругом нас люди, едва успев раздеться, забираются на свои места.

Мало помалу усаживаются, тесно прижимаясь друг к другу.

К нам подходит высокий улыбающийся Бочаров. По-московски акая, весело проговорил:

— А на улице сейчас хорошо... Ух, морозец, чудную разминку сделали... Как бы там ни было, пре-васходно, — прибавил он, потирая руки.

— Так прекрасно, так хорошо на дворе, правда?

Этот массивный человек в заграничной велюровой шляпе и в кастировом с маленьким бархатным воротничком пальто как-то застенчиво показывает на темное окно. Что-то там увидел, что-то так его захватило, что даже глаза блестят:

— Как прекрасно!.. Видите?.. Нет?.. А теперь? А? Вон синичка дает по-весеннему... Села на решетку и все ей нипочем...

— Рано больно, — недоверчиво заметил Пучков.

— О нет, не рано... два месяца... декабрь не в счет, а в марте в полную силу дает дудку... Первый признак — значит, весна наступает.

— Тем лучше, а то, это самое, по-стариковски не дождусь никак, — усмехнулся Пучков.

Он с некоторым удивлением смотрит на сияющее лицо инженера, поспешно переступает с ноги на ногу, что-то вроде соображая, и вдруг, сорвав с головы ушанку, скинув бушлат, бросил их на нары и сам рванулся на свое место. Там оказалось посвободней, и он повалился на спину, вытянул ноги.

Бочаров постоял, все еще застенчиво улыбаясь, покосился на Пучкова, махнул рукой и пошел к столу, а я направился к параше.

Шепотом переговариваются сосед с соседом, а другие о чем-то горячо спорят, что-то доказывая друг другу, а кто уткнулся в книгу, не обращая внимания ни на какие споры, кто, опустив голову, сидит, задумавшись, а кто молча курит.

В предвкушении ужина двое затеяли такой разговор:

— Эту треску очистить от костей, залить водой, отмочить... и такая нежная...

— Ты видел говяжьи котлетки?.. Они делаются из парного мяса... Понял секрет?

— Нет, нет, это не то, друг мой, не то... У нас в Харбине позы китайские... кушал когда-нибудь? Нет? О, о, — тесто раскатывается, начиняется рубленым фаршем, зеленый лук... Когда вы их кушаете, — сок, чудесно!.. Большие, как ватрушки... А рыбу делают — ох, объедение. Но они все без хлеба едят...

— Понятно. А знаешь, картошка крахмальная, она белая. И хрустит немного... Эти двое сошлись на своей теме, судить мне трудно, но по всей вероятности, им по-своему мучительно.

В камере, остуженной во время прогулки, становится жарко, снова духота нестерпимая. Я наконец решился сделать, как другие: сложил в головах пальто, пиджак, рубашку и остался в брюках и в майке. Мне что-то не сидится на нарах. Подошел к столу, повернулся к двери и зашагал по узкому проходу между нар. Двигаюсь назад и вперед, от параша к столу, от стола к параше — восемь шагов туда, восемь обратно. На ходу оглядываюсь: улей лиц и все вроде смотрят на меня. Как-то не по себе.

Восьмой шаг, я поворачиваю к параше, и к ней только восемь и ни сантиметра больше, и опять восемь к столу, и опять — к параше...

А вон лежит Кондратьев. Какое у него лицо? Обыкновенное лицо: лобастый, большие глаза, ноздри широкие, тупой нос.

У кого-то читал, что тупой нос — признак простоты и доверчивости.

Пучков говорит:

— Для меня на первом месте теперь такие, как Кондратьев: не норовит в сильные личности.

Как все просто и как чудовищно перепутано!

Восемь шагов к столу... А теперь обратно к параше.

Словно из-под земли вырос тоненький, бледненький паренек. Вылез из-под нар, оглядывается:

— Это чьи галоши, товарищи?... Не ваши?

— Мои.

— Я их надену?

— Надевай.

А эти двое до одурения все еще смакуют:

— Ты чувствуешь?... Вкусно!..

— О, это другое дело, но соус... горчица должна быть сладкая.

Вдруг открылась дверь. Как, очевидно, здесь бывает, желудки учуяли время: появляется бачок с ужином. Мгновенно подскочил спортсмен Володя, махнул мне рукой, и мы потащили с ним бачок к столу.

Одинокое сидит у стола старичок Леонид Михайлович. Он поглядел на меня и затряс белой головой:

— Я... я подвинусь... Я подвинусь...

Рядом с ним у края стола свободно. Те, кто ближе к окну, размещаются ужинать за столом. Я сел возле Леонида Михайловича. Передо мной поставили миску чечевицы. Съел черпачок чечевицы — вот и весь ужин. Леонид Михайлович, помолясь, посмотрел на меня и протянул кусочек белого хлеба с луковицей:

— Не взыщите...

— Да что вы, Леонид Михайлович?

— Нет, дружок, я обижусь.

За длинным столом ужинают человек двадцать, с которыми я пока еще не знаком. Некоторые из них, легко справившись с чечевицей, дополнительно закусывают, достав из кормушек свои скромные припасы. Напротив сидит угрюмый Тылтин. Медленно ест вкуснейшую чечевицу. На секунду поднял глаза, посмотрел на меня и снова наклонился к миске.

Круглолицый наголо остриженный под машинку человек, расстегнув ворот комсоставской габардиновой гимнастерки, повернулся к сидящему рядом с ним Тылтину:

— Слушай, такого хамства я от него не ожидал... Может, я не понимаю?..

Тылтин даже не поднял головы, невозмутимо молчит.

— Молчишь?

— Это твой друг, — жестко выговорил Тылтин.

— Не говори, — добродушно рассмеялся круглолицый военный, — он меня не забыл.

Ему под локоть сунул жилистую руку его сосед, горбатенький со сморщенным, будто плачущим лицом:

— Про кого, Василь Васильич?

Василий Васильевич оглянулся на него:

— Я, Егор Алексеевич, имею зуб на своего тезку — Василия Васильевича Ульриха... Знаешь такого?

Нахохлился Егор Алексеевич:

— Еще бы не знать... Как же... Если будете слушать, могу для вашего развития одну историю рассказать...

— Валяй, говори.

— Я вам про Ковтюха.

— Подожди, ты о нем что-нибудь знаешь?

— А как же, вроде делился с тобой?

— Здорово живешь!.. Когда?..

— Ладно... Ты же знаешь, Василь Васильевич, что у меня получилось: пересылка, потом Лефортово... Это знаешь когда было? Начало июля, август, сентябрь... А мы с ним...

Тут вдруг Егор Алексеевич, не окончив фразы, запнулся, посмотрел по сторонам, покосился на Леонида Михайловича, на меня, отодвинул пустую миску:

— Учтите, — нелегкий человек... Главное, ничего мне не сказал, пока я сам не нагляделся... Как это называется, Василь Васильч?

— Оригинал.

— Ну, да, оригинал. Вот в том-то и дело... А потом так: ночь допрашивают, через весь позвоночник каблуками пройдутся, а под рассвет притящат его на руках — делаю ему примочки, а он: „Это не Сталин, это кто-то другой“, а я ему: „Дело ваше, чудно говорите“, а Ковтюх свое, а я: „Кто же?“, а он: „Не знаю, Егор, ты так не смотри, ты пойми сам...“, а я ему: „По-вашему мы — идиоты?“ — а он: „Не знаю“.

Вот какая жистя!.. Ты подумай, с таким кругозором? Так и говорит: „Ты пойми сам“. Выходит дело: поживи подольше, узнаешь побольше. Но должен вам сказать: держался храбро, а я долго сердиться не могу. „Учтите, говорю, я на вас не сержусь“, — а он: „Не сердись, Егор Алексеевич“.

Смотрю на него, помогаю товарищу, ну, вижу, как он страдает, и у меня на сердце нехорошо, так нехорошо, Василь Васильич!

А чего, собственно говоря? У нас в Питере после смерти Мироныча нагляделся и в Большом доме, и в Крестах... А сколько взяли нашего брата кадро-

вого и с Путиловца, и с других мест... Но ведь ты подумай, Ковтюх!.. Вроде Чапаева, а, Василь Васильич?

— А что ж, сгубили бы и его...

— Эх-хе-хе, — вздохнул питерский рабочий, — выходит, кого силой, кого как... навели, брат, порядки... Эх, подлипалы!

— Ну, а Ковтюх, а Ульрих-то как же? — впился в рассказчика круглолицый Василий Васильевич.

Задержал головой питерский рабочий:

— Слушай, Василь Васильич, слушай!.. Надо ж дожить до такой жизни... Год утюжили и наконец выутюжили, а когда это случилось, он мне ничего не сказал... время пришло — после военной коллегии привели обратно в камеру ко мне, опять свела судьба.

Сидим, еще молчим, удивляюсь: молчит, не говорит, и все, а я не могу смотреть на него: мучается человек... Я говорю ему напрямик, русским языком: „Эх, едрена вошь, знаешь что, милый человек? Хватит! От своего брата питерца тайшься?“ А он опять двадцать пять — молчит, и я тоже молчу, а потом посмотрел на меня: „Я, говорит, не буду говорить, я не могу“. Ну, я впритык: „Ну, что ты, милый человек, поделись бедой, легче будет. Ведь этак нельзя внутри себя держать“.

А он молчал-молчал и все-таки не выдержал: „Сломали меня, Егор, перестал быть самим собой, — Ковтюхом“...

Тут всех, слушавших питерца, так и обдало: кто жевал, перестал жевать, Тылтин и тот выпучил глаза, а Василий Васильевич схватил Егора за руку:

— Как это перестал быть самим собой?

— Ты пойми, Василий Васильевич, вроде подписал он на себя, что он не Ковтюх...

— Не может быть! — воскликнул круглолицый военный, — если так, то после этого на свете жить не надо...

— Пой, — скривился питерский рабочий, — ты уж меня прости, товарищ Давыдов, это дело серьезное...

— Ну, ну, так что же?

— Это дело серьезное, ты вдумайся, давай рассматривать... Посмотрел бы, как ты поступил на его месте... Маленько надо подумать, верно?

— Ну, не знаю, не зарекаюсь, Егор, не зарекаюсь... Да, действительно, как-то очень все странно...

— Вот в том-то и дело: думать надо о человеке, думать надо, что человек горе имеет такое... Я так думаю, голой философией не возьмешь. Вот когда дело до суда дошло, аж затрясло его несчастного. Это не опишешь... Они что сде-

лали? — судили его тут же, в Лефортовской тюрьме... есть такой второй кабинет, тут тебе и ковры, и кожаный диван... Что ж, пришлось на том диване и мне полежать, всю спину изодрали... вот тут его и судили. Приехали судьи, посмотрел Ковтюх: Ух ты, — встреча старых друзей: председатель военной коллегии Ульрих. Вроде в Гражданскую были с ним вместе, или знали друг друга, ровно воевали, уж не помню.

И вот начали судить. Ульрих делает вид, что не узнает... да и то, нелегко узнать... Кто б узнал? — глубокий-преглубокий старик стоит, а может притворялся, что не узнает, только он на него посмотрел и говорит: „Есть у вас что-нибудь к суду?“ — а легендарный герой и отвечает: „Только одно скажи, Василь Васильевич, Ковтюх я или не Ковтюх?“ Вот тут, значит, совесть Ульриха и заела: пошептался с членами суда и объявил: „Суд удаляется на совещание“. Ну, удалился, и Ковтюха удалили, в конверт, значит, захлопнули. А там, что мне вам рассказывать ни статья, ни сесть... И опять-таки представить себе положение человека опозоренного. Ну, заводят обратно во второй кабинет, а в кабинете секретарь и больше никого. Зачитывают решение коллегии — дело отправить на переследствие... Эх-хе-хе, все наново...

— Товарищи, минуточку тише!

— Что такое, а-а?

— Вызывают, кто на букву „Г“.

Тут разом все притихли. От двери Гладько мне рукой машет. Я к двери. Знакомая тошнота подступает.

— Фамилия?... Имя, отчество?... Год рождения?... Соберитесь слегка.

И вот уже на ходу напяливаю на себя рубашку, дрожащими руками в пиджак не попадаю. Старик Пучков на рубашке пуговицы застегивает:

— Так вы того, не робейте, во всяком случае не теряйте точку опоры.

Суется около меня и маленький Островский, уцепился за руку:

— Можете мне поверить, обойдется, не Бог весть что...

Вот дверь распахнулась. В дверях коридорный:

— Готов?

— Готов!

— Выходи.

Выхожу. Коридорный потянул за руку, крепко схватил за ладканы. Наскоро ощупав, обернулся к разводящим:

— Забирайте!

Разводящие подхватили меня под руки и таким образом я опять зашагал по ковровым красно-зеленым дорожкам к следственному корпусу.

— Проходи... Садись, вот тут...

Лейтенант Котелков ткнул пальцем на стул у дверей.

— Курить хочешь?

— Нет, не хочу.

Он отодвинул какие-то бумаги, всматривается в меня, покосился на карандаш, повертел его и застучал по столу.

— Ну, так что же нам делать дальше с тобой?

— Я не могу понять вас, действительно не могу.

— Ишь ты!

— Клеветать на себя не стану...

Котелков отбросил карандаш.

— А... а, контра! ...успели гады обработать, заправили мозги... кто подбивал?

— Никто.

— Слушай, я ведь так пока, по-хорошему. Будешь говорить, нет?

— Что говорить?

— Ну так, поговорим еще... Слышишь, контра! (Котелков ухватился руками за стол) ...хотел тебе добра — добра не понимаешь... Обласкаем, сволочь! Это будь покоем...

Вдруг он схватился за массивное пресс-папье.

— У... у... гад... какая харя!

Я невольно пригнул голову, заслонился руками.

— Ну, ну, — проворчал Котелков, усаживаясь снова в кресло, — я тебя обласкал бы, но здесь нельзя.

Вот он выпрямился в кресле и такое лицо сделал, с удивлением смотрит на меня:

— Э... э, чего ты расселся? А ну-ка, встать! Сейчас увидим, какая ты птица.

А ну, в угол! Руки по швам!.. Вот так, часиков пять постоишь—умней станешь.

Ни слова не противореча, стал в угол, спиной к нему, слышу, как он снял телефонную трубку, набирает чей-то номер:

— Владимир Захарович? Котелков говорит... да... да... да. Они там интересуются, что делать?... что?... Нет, я объяснить не могу... да. Вы будете у себя? Ага, хорошо... да...да, привели, да, он у меня, да, хорошо... Я вам позвоню, да. Положил трубку. Проворчал что-то.

Чем же все это кончится? Ну, просто надо вытерпеть: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь...

— Ты что там шепчешь? Молишься?... Молись, молись! Типичный антисоветчик!

Может, сказать ему одной фразой, что все это ложь? Или еще проще: ничего не говорить?

— Повериись!

Котелков забарабанил пальцами по столу.

Поворачиваюсь. Он смотрит на меня в упор, не мигая. Глазные щели расширились, воспаленные глаза надвигаются на меня, будто гипнотизируя, приоткрылись зубы:

— Нану и Леву знаешь?

— Нану и Леву?

— Да, Нану и Леву?

— Знаю.

— Что, мерзавец, тебе этого не достаточно?

— Про что это вы?

— Ты не можешь понять?... Слушай, кончай крутить мозги — „про что“. Ишь, христосик! ..., „Про что это“? Я тебе вот что скажу: мы пока так с тобой, по-хорошему, понимаешь?

— Что вы хотите от меня?

— Нану и Леву знаешь?

— Да, слегка.

— Слегка, говоришь?

— Да, слегка.

— Ну, хорошо, а знаком давно?

— С тридцать шестого года.

— Как же вы познакомились?

— Через моего отца.

— Вот это я понимаю, ну, ну, дальше...

— Что дальше?

— Ну, брось, ты же умный, а как замороженный — тянешь резину... Ну, ну, об отце...

— Что об отце?

— Расскажи, как он тебя познакомил с агентами японской разведки, как они тебя завербовали... Да ты не волнуйся.

Котелков откинулся на спинку кресла и посмотрел на часы:

— Ну, хорошо, понимаю, трудно сразу. Подумай, время есть... Даю пять минут. Он скрестил на груди руки.

— Ты что-то хочешь сказать?... нет?... Ну, думай, думай.

Большой волосатой рукой подвинул к себе стопку бумаги и что-то стал вычерчивать карандашом. Но вот снова посмотрел на меня:

— Ну, как?... Пора бы уже, а?..

— Что пора?

— Не знаешь, — усмехнулся Котелков, — небось, трудно признаваться, родословная нехорошая, а?

— В чем признаваться?... Ведь это все не так.

— А как?

— Вы, как я понимаю, хотите, чтобы я сказал, что отец мой шпион?

— Вот-вот... Смекаешь?

— Вас интересует, кто такие Нана и Лева?

— Именно, — одобрительно подхватил Котелков.

— Я только одно знаю, что они приехали из Харбина два года назад, после продажи КВЖД. Лева учился по классу скрипки у моего отца, а Нана по классу рояля у жены отца...

— Подожди! — перебил Котелков, — не пойму, это что?... Он у тебя второй раз женился?

— Вам же об отце должно быть больше моего известно, вы же все знаете... С двадцать шестого года у него новая семья.

— Ну, хорошо, договаривай про то.

— Что договаривать?

— Боишься сделать какую-нибудь промашку?... Так значит, говоришь, шпионы?... Одну секунду...

Котелков наклонился к столу и стал что-то записывать, но вот он снова поднял голову:

— Ну, дальше?

— Что дальше?

— Слушай, так мы никогда не кончим. Хочешь, я тебе дам совет? — брось дурака валять!.. Нам поручено большое государственное дело. Помоги нам, и мы сможем облегчить твое положение... Так как, насчет помочь нам?

— Это невозможно, гражданин следователь. Или, вы думаете, я сошел с ума, клеветать на отца, на себя?

— Вот видишь, какая ты сволочь! Кто же заставляет тебя клеветать?

Он застучал ногтями о стол, вдруг локоть его соскользнул, он наклонился, выдвинул один из ящиков письменного стола, вынул оттуда какую-то бумагу:

— Ну, хорошо, подойди сюда, ближе, ближе... Вот, читай...

Я чуть не споткнулся о коврик, взял дрожащими руками бумагу. На официальном бланке типографским шрифтом крупно: Мера пресечения. Ниже уже машинкой: моя фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, национальность... Еще ниже: пятьдесят восьмая статья, пункты шестой, восьмой, десятый, одиннадцатый... Внизу подпись начальника отдела, внизу сбоку синим карандашом: согласен — прокурор, сверху: утверждаю, зеленым карандашом — зам. наркома внутренних дел.

Лейтенант Котелков, привстав, заглянул в мои глаза:

— Ну, что?

— Я не понимаю, зачем все это? Это бред какой-то. Вы же сами прекрасно все знаете.

— Больше ничего не скажешь? — спросил он тихо.

— Нет, ничего.

Он обмакнул перо и протянул мне ручку.

— Тогда подписывай.

— Я этого не буду подписывать.

Вдруг — странное дело — лейтенант Котелков положил руку мне на плечо:

— Что, растолковать тебе? Эта же подпись ни к чему не обязывает. Просто подпишешь, что я тебя ознакомил с предварительным обвинением... Ну?... Ну, чего же ты?

— Так зачем же подписывать, если я не согласен.

Котелков положил на стол ручку, взял у меня бумагу и ее положил на стол, присел в кресло. Вдруг заторопился:

— Мы же будем с тобой еще работать — протокол допроса составлять, а это простая формальность (он повертел в руках „меру пресечения“) ... это же еще ничего не значит...

— Как?... Вы говорите, что это не доказательство вины?

— Ну, да, точно. Вот, теперь ясно? Это так — пустой звук, формальность.

— Как же вы можете тогда лишать свободы?

— А у нас такой метод, — откинулся Котелков на спинку кресла, — прямо берем и все.

— Как же это так?

— А так, — прищурил он глаз. Вдруг что-то дрогнуло, лицо совершенно перекошилось:

— Сволочь! Стать в угол! Гад, в угол!

Взъерошились волосы, нависли над низким лбом.

Я направился в угол, стал, закрыл глаза. Что же это такое?..

— Ты!.. Не шевелиться!.. Чего трясешься? Стой смирно.

Вот ничего он со мной не поделает, решительно ничего! Когда было вначале — было страшно, а теперь уже вроде не так. А ведь чувствовалось что-то не то...

И чуть не каждый день!

„Какое есть предложение?... Кто воздержался?... Нет воздержавшихся“.

А ведь когда с Мейерхольдом, не воздержался? А если бы коснулось мамы, дяди? А с Маяковским? Я тогда прямо из школы убежал к нему. Такой вид у него у мертвого был сосредоточенный, а губы детские, добрые...

„Товарищи наши из бригады стараются эту выставку продвинуть, за что я им бесконечно благодарен!“

Бригада читает стихи, и я тоже читал. А Альберт Ценнари сидел в застенке у Муссолини, а теперь сидит здесь. Но он не как все, у него же протезы вместо ног. А она нашла себе хахаля. Но Альберт же был ей как муж? „Я не могла с ним жить, он без двух ног“.

— М-м-да! На всю ночь зарядились? — спросил чей-то знакомый голос. Задвигалось кресло.

— Нахал, каких мало, товарищ капитан!

— Сиди, сиди, — перебил мягкий басок капитана.

— Уважаемый! (это очевидно ко мне) — было бы неплохо, если бы вы вернулись.

Поворачиваюсь.

Знакомый уже мне по Лубянке капитан госбезопасности смотрит на меня прищуренными глазками. Он весь округлый, голова выбритая, розовая. Вдруг повернул голову к Котелкову:

— А что? Он мне нравится, храбрый парень!

Котелков покосился, задвигал бровями.

Капитан снова ко мне:

— Что у вас в камере, тесновато?

— Тесно!

— Да, да. К несчастью, не рассчитывали на такое количество... Вообще безобразие, бестолковщина...

Потянулся в карман, вынул портсигар.

— Курите?

— Спасибо, не хочется.

— Что ж, прекрасно, — закурил толстый „Казбек“, затянулся, выпустил дым.

Прекрасно. Вы все время, уважаемый, на потолок глядели. Ну, расскажите, вам нравится здесь? Вы обратите внимание на потолок... нет, хорошо сделали, скромно, и решетку такую скромную, крепкую. Нет, все-таки ничего, правда?.. — Да, ничего...

Улыбнулся и вдруг пытливо глянул на меня:

— А вот чем объяснить ваше молчание?

— А что говорить, гражданин капитан? В чем признаваться? Я ни в чем не виноват.

— Так, так, — закивал головой капитан. К сожалению, не могу порадовать; ультимативность с вашей стороны совершенно неправильная. Очень даже глупо, нехорошо... *Если враг не сдается — его уничтожают.*

Он подвинулся совсем вплотную ко мне:

— *Если враг не сдается, его у-ни-что-жа-ют,* — протянул он с улыбкой. — Вы любите Горького?

— Я не хотел бы отвечать на ваш вопрос, гражданин капитан.

— Простите за нескромность, это почему же так?

— Горький тут не причем, гражданин капитан.

— Смотри, как большой толкует, — подмигнул капитан, оглянувшись на Котелкова. Холодно покосился на меня:

— Ну, что ж, велю посадить в карцер.

Круто повернулся к столу, затушил в пепельнице папиросу, протянул руку к кнопке звонка. В ту же секунду запахнулась дверь. На пороге вытянулся разводящий.

— Уведите арестованного, — махнул рукой капитан.

Разводящий вывел меня в вестибюль, подвел к столику. За столиком старшина. Шея у старшины необыкновенно короткая и поэтому кажется, будто продолговатая его голова выросла прямо из туловища. Старшина посмотрел на меня, обмакнул перо и протянул мне:

— Смотри, вот здесь.

На столике толстая раскрытая разграфленная книга. Между графами фамилии. Старшина накрыл эти фамилии свинцовым трафаретом. Свинцовая закладка. В вырезанной полоске моя фамилия и место для росписи.

— Вот здесь... время выхода на допрос, вот здесь время окончания... распишись... Расписался. Ну, вот и все.

Разводящий подхватил под руку. Тут же подоспел и другой разводящий. Хлопнула коридорная дверь, тронулись в путь. Раскрываются двери, разводящие поминутно прислушиваются, предупреждаяще щелкают пальцами и хлопают ключами по пряжкам.

Вот повернули влево, стали подниматься по лестнице, опять коридоры.. Но вот пятьдесят четвертая камера.

Растворилась дверь. Камера ночью спит — спит скрючившаяся, лицо к лицу, бок к боку. Просовываюсь и я на свое место.

Проходят дни, на исходе ноябрь, а сдвига никакого. Надо ожидать худого, а ждешь лучшего.

День за днем подъем, оправка, пайка хлеба, два кусочка сахара, кипяток, выдача капель, порошков, таблеток, черпак супу, черпак каши, вечерняя оправка, отбой, сон, подъем.

Научился мыть плиточный пол до совершенной белизны, драить параша до блеска, особенно медные кольца вокруг параш.

Всякий день после утреннего чаепития читаю книги. Книг много, и меняют их раз в десять дней. Немало из личных, конфискованных библиотек. Попадают с инициалами: К.Р. — не то Карл Радек, а может быть Константин Романов.

С изумлением перечитал „Путешествие Гулливера в страну лилипутов“. Невесело. А вот еще—„История французской революции“ Менье. Читаешь и начинаешь понимать, что „добродетели“ Робеспьера, Марата, Сен-Жюста, их честолюбие, их фанатизм тебе теперь не по вкусу. Да, здесь академия, ни с чем не сравнимая. Кондратьев посоветовал перечитать „Воскресение“ Толстого. Перечитал с огромным интересом. О революционерах там сказано, что „это были не сплошные злодеи, как их представляли себе одни, и не сплошные герои, какими считали их другие, а были обыкновенные люди, между которыми были, как и везде, хорошие и дурные, и средние люди, ставшие революционерами потому, что искренне считали себя обязанными бороться с существующим злом; но были и такие, которые избрали эту деятельность из эгоистических, тщеславных мотивов; большинство же было привлечено к революции желанием опасности, риска, наслаждением игры своей жизнью,— чувствами, свойственными самой обыкновенной энергической молодежи. Различие их от обыкновенных людей, и в их пользу, состояло в том, что требования нравственности среди них были выше тех, которые были приняты в кругу обыкновенных людей. Среди них считалось обязательным не только воздержание, суровость жизни, правдивость, бескорыстие, но и готовность жертвовать всем, даже своей жизнью, для общего блага. И потому те из людей, которые были выше среднего уровня, были гораздо выше его, представляли из себя образец редкой нравственной высоты; те же, которые были ниже сред-

него уровня, были гораздо ниже его, представляли из себя часто людей неправдивых, притворяющихся, и вместе с тем самоуверенных и гордых“

Начинается с этого, а кончается?

Гордыня как-то сокращает их до ничтожества. И всякий раз: „Мы все глядим в Наполеоны...“

Кстати, за это время успел перебраться от параша ближе к окну, и у меня новый сосед — бывший морской разведчик Свириденко. Учим с ним на память „Онегина“. Выучил уже первую главу. Мне самому сразу не осилить, но Свириденко непреклонен. От времени до времени где-нибудь в углу или за узким деревянным столом поднимается какой-либо важный вопрос, аграрный или какой-либо другой. Кто-то задал вопрос, другие ожидают ответа, назревает дискуссия.

— Я хотел бы, чтобы вы разъяснили нам...

— Ну, простите, не перебивайте меня. Я еще раз говорю: в этом направлении было много разговоров, нужно было поднимать тяжелую индустрию, для этого были созданы реальные возможности. Но нет дисциплины, нет порядка. У нас очень много непорядка. Вот человек пахал себе землю, а жизнь большое и серьезное дело. Мне представляется, что Вавилов прав...

Со всей конкретностью встали вопросы крупного специализированного сельскохозяйственного производства. Мы раскрываем здесь более глубокие проблемы: проблемы планового государственного районирования сельского хозяйства, проблемы государственной организации сортового семеноводства, массового введения новых культур...

— Вот что растолкуйте мне...

— Я еще раз прошу не перебивать меня. Вы все знаете точку зрения Вавилова. Вот и считайте: сейчас произошли коренные изменения: мы только что приступили к развитию зерновых фабрик и мгновенно возникли вопросы, на которые не дает ответа современный уровень наших сельскохозяйственных знаний. Во всяком случае, мы должны знать, что какую бы отрасль мы ни взяли, будь то зерновое хозяйство, животноводство, хлопководство, культура риса или субтропических растений, организация борьбы с вредителями полей, для нас ясно, что прикосновение к ним в широком масштабе обнаружило неответствие наших знаний и запросов сегодняшнего дня. Как мне известно из той же заметки Вавилова, 94 процента всей территории нашей страны вахондятся вне земледелия. Уже в ближайшее пятилетие мы должны довести культурную площадь вместо ста пятидесяти миллионов га до двухсот двадцати. Однако, мы не знаем, куда наиболее правильно направить внимание.

— Ах вы, мои хорошие! Послушаешь вас, сердце радуется. И зачем только вас посадили... Чудеса, право, чудеса!

Но вот подползает вечер, и вдруг хлопает дверь... Снова к Котелкову. Терзает до утра, тянет свою нуду. Пока почему-то воздерживается от более сильных средств, но и нуду не всякий долго выдерживает.

Пытливый неморгающий котелковский глаз. Потом целую ночь в углу. Надо стоять прямо и неподвижно. Это называется „стоять на конвейере“. А Котелков созерцает мою спину, и вдруг со свирепостью накидывается со своей нудой. В углу можно обо многом думать, а вообще — нудно. Но все-таки за это время я кажется кое-чему научился. После вечернего черпачка каши сидим у стола и слушаем „всепонимающего, всезнающего“ Иванова-Разумника. Залежи воспоминаний: „Самого Георгия Валентиновича Плеханова называл Брехановым“... Тут же, конечно, разгорается спор. И тут ко всему прочему Разумник Васильевич повторяет свою лекцию, прочитанную им ровно тридцать лет тому назад в Петербурге в зале Тенишевского училища. Тема лекции: „Леонид Андреев—вопрос о смысле жизни и современной русской литературе“. Рывок куда-то в прошлое. И Разумник Васильевич, привалясь к нам, откашлялся: „Итак, если Федор Соллогуб с ужасом останавливается перед проблемой жизни с ее перидоновщиной, а Лев Шестов не в силах был мириться с фактом необходимости жизни и смерти, то Леонид Андреев с мучительным страхом и отчаянным ужасом останавливается перед проблемой смерти. Никто из этих троих не мог найти точки опоры в том или ином решении: все они блуждали в бесконечном искании и страдании“.

У самого же Разумника Васильевича такой тон, что именно сн-то и есть тот человек, который, с трудом, правда, но добыл все-таки основную истину.

А однажды слушали мы „отца русской микробиологии“ академика Надсона. Мне как-то тоскливо сделалось, когда я представил себе, каково было тихому старичку в следственном корпусе. Молодчики, притоптывая ногами, рвали в клочки рукописи ученого, а потом посадили старого человека на шкаф и харкали ему в лицо. И он после этого написал, что занимался вредительством, готовил отравление водохранилищ Советского Союза. И вот мы тесно сдвинулись к нему и слушаем лекцию по микробиологии. Этот человек всю жизнь прозанимался своей наукой, почти целый век промыслил об отвлеченных причинах и следствиях и, очевидно, меньше всего знал, что такое жизнь. Не знает и теперь.

А профессор Саркисян на свой лад знает. Он весь высох от чахотки, все время кашляет, но такой сн живой, такой деловитый; в высшей степени с практической складкой. Например, лук, чеснок, сахар, конфеты-подушечки — ведь

все это выдают в лавочке оптом, одним весом на всю камеру. И тогда профессор Саркисян моет руки над парашей, тщательно протирает очки и делит на каждого в любом весе с исключительной точностью.

— Что вы делали до революции? — спрашиваю я его.

И он рассказывает о своей работе на Бакинских нефтепромыслах:

— Что вам сказать? Все вращалось своим чередом... братья Нобиль, Монтаншев и даже Тагиев...

— Почему „даже“?

— Лучше бы вы меня не спрашивали. Вы уж сами сообразите.

Очевидно, профессор не в духе, а когда он в духе, охотно растолкует все подробнейшим образом.

А тоска не проходит. Она как-то засела глубоко. Да что поделать? Ничего!

Подумаешь, считаешь, лежишь и опять кого-нибудь слушаешь. Сидит на нарах парторг завода „Треугольник“ Волков и шпарит нараспев по памяти чапыгинского „Разина Степана“, шпарит текстуально, слово в слово. Лицо у него, как у врубелевского „Демона“. Вот остановился, подобрал огневые космы, голову свесил, тяжело вздохнул:

— Кому какое дело, как все было... Как-нибудь в другой раз доскажу.

А в кругу слушателей, приподнявшись на локте, вглядывается в парторга Волкова полярник Шольц: лицо строгое, впалые щеки, мысок седеющих волос, подбородок слегка выдается. Кажется, в свое время был не то начальником, не то заместителем начальника Главсевморпути. Молчун. Слова лишнего от него не услышишь. То ли дело старик Пучков-Безродный. Не даст дух перевести — все новые и новые факты:

— А теперь скажите, слышали про профессора Плетнева? — спрашивает он меня.

— Как же я мог не слышать?... Читал стенографический отчет процесса, а за год или два до этого статью — „профессор-садист“.

— Ну, уж дудки!.. Шалишь!.. Знаем, что за садист... Гнусная инсинуация!.. Можно написать черт знает что, любую фигню... Вы же представьте: „груди кусал“, а?... Умрешь прямо! А что вы от этих мерзавцев хотите? В арсенале масса каверз... И, главное, всегда найдется всякая мерзость подслужиться... Мне посчастливилось здесь в пересылке встретиться с Дмитрием Дмитриевичем Плетневым... побеседовали... Уж он мне все рассказал. И про процесс, и про статью. Правда, не успел всего расспросить, всего одна ночь, наутро его увели. Короче, бесстыжие мерзавцы! Подтасовка!.. Подбросили работенку шантажистке — перед процессом выкинули специальный трюк. Видите, что делается. Мне только хочется сказать, что я был на воле его пациентом. Крайне

редко в медицине удавалось кому-нибудь то, что ему. Вы подумайте, — смешали с дерьмом!

— Как же, собственно, светила медицины подписались под клеветнической статьей? — спрашиваю я у Пучкова-Безродного.

— А что вы хотите?.. Сволочи!.. Да, сволочи!.. Хотя я не виню их в этом...

— Вы-то не вините, а как Плетнев?

„Я для людей все делал, — говорил Дмитрий Дмитриевич, — а что люди сделали? Все друзья-врачи поставили подписи, что я садист“. Вспомните, как поступили с Енукидзе. Прекраснейший человек был. Это вызывало раздражение. Что же мы видим дальше? Созывается пленум и начинается обливание грязью. Выступает Ежов — каждый преследует свою цель — этот сгорал желанием показать свою принципиальность, не взирая на лица. Для него раздолье — делает карьеру. Между тем, русло проложено, дело подвигается вперед, можно уже ставить к стенке. От морально разложившегося до врага народа один шаг. Вот такая штука-то!

— Что ж, кое-что я уже начинаю понимать, но не все. Вы знаете про процессы?

— Погодите, сейчас, — Пучков захватил пятерней свою бороду и еще ближе придвинулся ко мне. — Не разжевав, не проглотишь, тут бесполезно возмущаться — нужны только факты, последующим поколениям пригодятся. Но я ведь стар, мне уже не вернуться туда, а вы молоды, и мое право рассказать вам...

— Если вы мне верите...

— Ух ты черт! Если бы я не верил, зачем бы я стал время попусту тратить? Я должен предупредить ради вас же — держите язык за зубами... Вы еще очень молоды... Сердитесь?

— Да за что же?

— Так вот, до рассвета проговорили с Дмитрием Дмитриевичем. Он мне многое объяснил, фактов уйма. Представьте себе, в перерыве судебных заседаний он беседовал с Бухариным, Рыковым, Ягодой... Уж этот по своей должности все знал. Он исполнил перед могилой свой долг — не все, но многое Дмитрию Дмитриевичу рассказал... фактов уйма...

Пучков озирается вокруг, переходит на шепот:

— Начнем издалека: все цепляется одно за другое. Сами посудите: вскоре после семнадцатого съезда был убит Сергей Миронович Киров. Кто убил?

— То есть как „кто“? — Николаев.

— Погодите, милейший, как мне кажется, вы понимаете, что это слепой исполнитель?

— Этого я не знал.

— Так знайте: только раздался выстрел, хозяин вместе с Вячеславом Михайловичем и Лазарем Моисеевичем мчится специальным курьерским в Питер. Нервная система подкачала. Всегда железная выдержка, а тут подкачала. Теперь, значит, нам интересно знать, что он там делал. А там он садится в одну машину с Николаевым и еще шофер, и больше никого. О чем они там беседовали, никто не знает. Только после этого вскоре Николаев кончает жизнь самоубийством, а шофер погибает при автомобильной катастрофе.

— Да как же?

— А так, факты — упрямая вещь. Его вечная присказка. А далее полным ходом пошли аресты. Сначала — кто мог знать — Медведя, гораздо позже — Ягоду. Хватают Зиновьева и Каменева. Ставят им в вину убийство Кирова, тайную переписку с Троцким. Нажимают на все педали. Опыт есть — дело промпартии и другие липовые дела.

— То есть как „липовые дела“?

— Да, милейший, да, липовые...

— Я думал...

— Что вы думали? Невинность Рамзина и других далеких от политики интеллигентов бесспорна. Здесь сидел инженер Рабинович, снова схватили. Рассказывал про те дела. Жили, работали, ни сном ни духом ничего не ведали. И вот схватили, бросили в камеру, кормили селедкой, держали по пять часов в бане. Не били, нет, все по закону — санобработка, чтобы не разводились насекомые, и еще масса каверз. А потом инсценировка суда, высшая мера, гуманное помилование. Умрешь прямо. Через несколько дней Рамзин уже читает лекции, а остальные специалисты строят канал. Хитрая штука! Строят канал в качестве инженеров, без конвоя. Все на них пальцем показывают, пьесы пишут: „Смотрите, вредители перевоспитываются“. А сам Рамзин и его коллеги Ларичев, Очкин, Усенко создают новый тип прямоточных котлов и вполне довольны таким исходом...

— Откуда вы знаете, что они довольны?

— Представьте себе, знаю. Они и в самом деле довольны. Жутко подумать, но тут бесполезно возмущаться. Тут, понимаете, письмо их в редакцию „Правды“ я читал в тридцать шестом году.

— Я припоминаю, что я тоже что-то читал.

— Вот видите. Вообще, честно говоря, меня это письмо в то время не удивило... Ну, тут это самое... Вы побледневший что-то?..

— Страшно слушать.

— Понимаю, отлично понимаю. Думаю, что творцу самой демократической конституции не страшно. Железная выдержка. Этого у него не отнимешь. Рассаживает по кабинету: дескать, я хотел бы заверить вас, что вы смело можете положиться на товарища Сталина. Это конечно — „мы все за товарищем Сталиным“.

Ну, еще более осмелел: дескать, по-настоящему развернем массовую работу, надо как-то обобщить опыт шахтинского и рамзинского процессов, мобилизовать бдительность, разоблачить вредительские действия в хлопчато-бумажной промышленности. Перебои в продаже сахара, соли, спичек, хозяйственного мыла — это неумение распознать врага... Нужна массово-разъяснительная работа, нужна настоящая связь с массами. Выходит дело — вам дают возможность следить и прислушиваться, быть всегда начеку. Вот это широкая кампания! И массы двинули это дело — сверху дал директиву, снизу сразу отзываются. Тут бесполезно возмущаться: я сам всех прорабатывал, сам всегда был начеку. Были такие — мухи не обидят, муха садится, они говорят: „садись, муха, ешь“, а тут озверели — массовый психоз. Ничего не попишешь: народные массы... да, да, народные массы охвачены грозным гневом, единодушно требуют: раздавить троцкистскую гадину! Видите, какая штука? Умрешь прямо! Как мне кажется, вам нетрудно все это вспомнить? — Не трудно, но страшно.

— Да, страшненько. Но, как вы теперь видите, вот в какой подготовленной атмосфере создавались первый, второй и третий процессы. Еще после процесса Зиновьева-Каменева для того, чтобы санкционировать арест какого-нибудь видного деятеля партии собирался пленум. Ежов выходил на трибуну и сообщал, что у него есть против такого-то неопровержимые материалы. Так, например, было с Пятницким: вышел Ежов и объявил, что против Пятницкого у него имеются материалы. После этого поднялась со своего места Надежда Константиновна Крупская и сказала: „Я бы хотела обратить внимание пленума и лично товарища Сталина на отношение Владимира Ильича к Пятницкому. Владимир Ильич чрезвычайно ценил и уважал товарища Пятницкого. Он считал его большевиком до мозга костей, который всего себя без остатка отдавал на борьбу за дело пролетариата“. На это Сталин глухим голосом заметил: „Чего же Пятницкий молчит? Неужели не может подняться и сказать, что он думает по этому поводу?“

Поднимается Пятницкий и говорит: „Если я здесь лишний, я могу выйти“. И вышел.

И сразу же за дверью его схватили и повезли в Лефортово. А там: „Ах, вы сени, мои сени, сени новые мои, сени новые, кленовые, решетчатые“ — били

и топтали ногами четыре часа подряд. И там же, на полу, в бессознательном состоянии подписал бумажку, что просит разрешения у Ежова Николая Ивановича на дачу чистосердечных признаний. А на завтра эту бумажку зачитали на пленуме. А теперь, говорят, вообще перестали собирать пленумы: без всякого хватают и оформляют. Секретаря обкома может арестовать начальник областного НКВД. На данном отрезке времени кампания арестов приняла грандиозные размеры. Сначала каждый тешил себя, что не его сегодня забрали. Радека судят, а Бухарин в „Известиях“ клеймит его в хвост и в гриву. Видите, как красиво? Великолепный товарищ!

— Как же так? Но может быть, вы слишком строги. Может быть, он всего доподлинно не знал?

— Кто? Бухарин?.. Думаю, что не знал. Тем для него хуже... Я про то и говорю: тешил себя, что не его сегодня забрали. А Радеку, разумеется, дали почитать, как его клеймит его же дружок. Ну, Карл Бернгардович тут же дает на дружка показания, уважил суд, расстарался во всю. Короче, как говорит Кондратьев, попались в тот же клубок, и все шито-крыто.

— Да, но однако Бухарина же не сразу арестовали?

— Ну, дело известное, разумеется не сразу. Законность, правопорядок прежде всего. Хитрая штука! Дескать, мы так, на слово не верим. Прокуратура досконально проверит. Вышинский пишет в газете официальное опровержение. Мол, обвинение Бухарина и Рыкова необоснованно. Даже напоследях дали им выступить на пленуме. Ну, те, наконец, взорвались и давай крушить, а это только и нужно было. „Ага! За старое принялись, несогласие с линией партии?“ Тут же после пленума их и схватили.

— Интересно, как же с ними здесь обходились?

— Об этом мне Дмитрий Дмитриевич кое-чего порассказал. Сколько пришлось крови перепортить и все впустую. Это страшная игра. „Скажите ваше имя, отчество? — Бухарин Николай Иванович. — А кто вы такой? — кричит на него сморчок. — Член ЦК. — Какой член ЦК, мать твою так!... — Я требую немедленно начальника отдела... Вы не имеете права... — Я тебе дам право... Сознавайся, гад.“ Что ему после этого говорить? Говорить-то нечего. Я уже говорю про „раздвинь задний проход“ и все прочее... Для профессора Плетнева и этого достаточно было, а Бухарин шесть месяцев ничего не давал.

— А его тоже били?

— Не без того. Расшибали, конечно, физиономию, но не это главное.

— Как, не это главное?

— Ну, дело известное, тяжело. Но шесть месяцев сопротивлялся, а в камерах полно людей... Ну, все сидят, и большинство до этого друг друга в глаза не

видели... Вроде как на процессе Радека какой-нибудь инженер Строилов или какой-нибудь Норкин. А система-то следствия универсальная: вызвали такого Бессонова... Он-то и в глаза до этого навряд ли кого видел... мелкий работник нашего торгпредства в Берлине. Ну, и попал сюда в невод, как мелкая рыбешка. А его вызвали, наобещали с бочку арестантов, ну, он и раскис, а ему: „Будьте настолько любезны, соедините эту фамилию с этой, а эту с этой“. Ну, а после идет все, что хотите... А потом начинают вызывать Бухарина, Рыкова, Плетнева, Ивановых, Петровых и так далее, а потом очные ставки, шьют все на живую нитку, а петля постепенно затягивается... Между тем обещают всем жизнь. Вот так. Бухарин и Рыков сомневаются. Тогда их ведут по коридору, подводят к одной двери, к другой, приоткрывают глазки, а там, кто бы вы думали?

— Кто?

— Зиновьев и Каменев.

— Как, живые?

— Ну, разумеется.

— Да ведь на весь мир было объявлено, что приговор приведен в исполнение.

— Отлично понимаю ваше удивление. Думаю, что Бухарин с Рыковым больше вашего удивлялись. Но, согласитесь, заманчиво, особенно хаять их не надо — живые люди — только бы зацепиться. Да-а... Обнадежили несчастных людей. Горазды прохвосты на выдумки! На время придержали исполнение приговора, а эффект колоссальный: дескать, потерпите, как Зиновьев и Каменев... Ныне, мол, нависла фашистская угроза, империалистическое окружение; время, дескать, такое, для партии ваши признания нужны. Ну, а как рассеется угроза, потом разберемся. Вот вам, пожалуйста, бумага, ручка... Ну, как? Значит, по рукам? Вот так! А потом, уже перед самым процессом, везут Плетнева в Лефортово. Заводят в большой кабинет, а там его ожидает Вышинский Андрей Ягуарович!..

— Как, Ягуарович?... Януарьевич!

— Нет, ему больше подходит Ягуарович. Да и что говорить... Прямо надо сказать, иезуит. „Я прошу извинения, профессор. Я хотел, чтобы вы мне объяснили, как вы дошли до террора?... Меня это интересует психологически“. Дмитрию Дмитриевичу, по его словам, мутно стало, пот выступил. „Если вам угодно, гражданин генеральный прокурор, я готов подтвердить на суде всю ложь, я не испорчу ваш спектакль. А сейчас, сделайте одолжение, отправьте меня в камеру, мне страшно с вами разговаривать“.

Ну, а потом посетил Дмитрия Дмитриевича секретарь Ежова Шапиро: „Дмитрий Дмитриевич, я обязательно должен съездить к вам домой и привезти ваш

любимый галстук. Вам надо выглядеть молодцом. Вы меня понимаете?“... Короче, перед процессом нажимали на все педали: со скудной пищи перевели на жирную, откормили, все стали гладкими, привели в порядок прически, весь туалет, — полный комфорт! Во всяком случае, предварительное следствие закончено, все продумано, пронумеровано и переплетено.

Двести шестая подписана, роли выучены, простые до очевидности, нелепости никого не смущают.

В Октябрьском зале здоровая деловая атмосфера. Все просто и чинно: в первых рядах расселись следователи и тут же Шапиро, смотрит во все глаза на Плетнева, а того как врача усадили рядом с Бессоновым. Этот может подвести — припадочный. При малейшем подозрении Дмитрий Дмитриевич незаметно сигнализирует Шапиро, а тот уже Ульриху. Объявляется перерыв! Вот так. Умрешь прямо! За кулисами комната подсудимых. Полная идиллия: в кругу своих. Можно излить чувства. Тут же и свидетели, в одной комнате с подсудимыми... На столе сухие фрукты, яблоки, газеты, чай с тортом. Попили, покурили. И снова в зал, снова рабочий момент: сцена, трибуна, поток слов, громкие фразы из газетных передовиц...

— *Так вот как это было!* — заключил вдруг Пучков, победоносно встряхнув бородой.

Разбередил старик до основания. И всякий раз на новый манер.

А мысли все глубже зарываются, перебрасываются с одного на другое:

— Видимо, сгоряча укорял его Рафес работой в трибунале...

Но ведь так оно и было: заработали трибуналы, и поскольку его знали как старого революционера, выбор пал на него.

— Время такое, — рассказывал старик. Ну, дело известное, тяжело. Страшное и тяжелое дело! Да, товарищ дорогой, я умел различать врага, но что греха таить — суд был короткий. Нам с ними церемониться не приходилось: заслужил — получай! Но раз так вышло: никогда не забуду жену одного жандармского ротмистра. Ее приговорили к вышке, и я должен был присутствовать при исполнении приговора. И не разберешь, что с ней творилось... Ну, это самое — страх... Нет, это был не страх... Ее ноги обтягивали длинные, по тогдашней моде зашнурованные ботинки. Она должна была расшнуровать, а руки дрожали, не слушались. Я старался не глядеть на нее... А вы знаете, честно говоря, так и подмывало встать на колени и помочь ей...

Старик Пучков видимо, хорошо все понимал, и в таких случаях ему было не до шуток.

— Понять!.. Понять!.. — горячился старик. — Ничего не поймете, да и поинимать не надо... Масса, масса противоречий.

— Отчего же не пойму?

— Оно, конечно, понять можно. Мы хотели... Но так вышло. Мы были влюблены, как бывают влюблены в любимую женщину. Да, если любишь, то не думаешь о всяких заковырках. Мы понимали, мы считали, что должны сделать все, как нужно. Дожить нужно было до свободной жизни. Ну, и тут это самое, и дожили...

Из-под бровей старика блестят маленькие глаза.

Вероятно, в судьбе и жизни этого человека было такое, что всегда хочется о многом его расспросить.

Хочется мне как можно больше слушать и читать.

По Пучкову выходит, что в добром не все добро. Значит, и в злом не все зло? Прочел здесь „Метафизику нравов“ Канта, он отрицает возможность нравственных конфликтов. Он полагает, что каждый человек, обладающий умом и совестью, может безошибочно определить нравственные достоинства любого поступка.

А для моего сокамерника инженера Бочарова, у которого шестой и седьмой пункты пятьдесят восьмой статьи, ясно другое:

— Бабка у меня молодец была, говорила: чистый воздух, овощи... Чай, чистый воздух, овощи — всегда будете здоровы. Естественные продукты должны быть.

Бочаров родом из Москвы, прожил несколько лет в Америке, играл в теннис.

Я не думаю проводить параллель между Кантом и Бочаровым. Просто мне в первый раз в жизни нехорошо как-то очень, я пытаюсь что-то пснуть и мне хочется поскорее во всем разобраться. Часто сижу у окна, созерцаю козырек-намордник и кусочек неба. Вдруг щелкнет засов в дверях. Теперь каждый день выдергивают двоих-троих с вещами, а куда — неизвестно. А на их место поступают новенькие. Как здесь говорится: „Кто не был, тот будет, а кто был, тот не забудет. Входящий, не печалься, уходящий, не радуйся“. Дверь заскрипит, камера притихнет.

Стоит с рюкзачком посреди камеры Кондратьев. Я кинулся к нему:

— Как же это так?..

И сказать больше нечего.

— На свободу?..

— Нет, навряд ли!

— Что же это?

— Да уж не знаю. Ну, может когда и свидимся... Ну, прощайте.

Гронул рюкзачок с левого плеча на правое и зашагал к двери.

Оглянувшись в последний раз и вышел из камеры. Дверь захлопнулась. А мы еще долго не можем оторвать глаз от двери.

Через некоторое время выдернули комкора Тылтина, спортсмева Володю Кудинова, капитана черноморского флота Колю Гладко. Я живу теперь уже какими-то другими сущностями: перестаю сжидать возвращения домой...

Но вдруг совершенно неожиданно — луч надежды: новые правила внутреннего распорядка:

„Арестованному разрешается, арестованному запрещается, арестованный обязан... Утверждаю: нарком внутренних дел Л. Берия“.

— Еще на роде вилами писано, что оно такое!

— Не спорь, Пучков, ты не прав. Параграфы правил против тебя. Приглядишься... против прежних есть, есть, есть же, а? И прогулку увеличили на 30 минут, и лавочка не пятьдесят, а семьдесят рублей... Вот то-то и оно... А главное — мы имеем право писать заявления и жалобы по существу дела еще в ходе следствия. Ты понимаешь, что это такое? Это же большое дело, ведь недостатки и ошибки можно еще поправить. Как, товарищи, а?

— Ух ты чорт! Ну и публика, вы подумайте, просто слепцы. Сукины дети решили поискать других приемов, а они тешат себе душу. Умрешь прямо! Стоящая штука быть тихим, кротким и степенным, не разговаривать громким голосом, ходить, заложив руки за спину. Но во всяком случае, хаять особенно не буду: заманчиво, только бы зацепиться. А у этих прохвостов расчет правильный...

— Ну, а что бы ты хотел, чтобы было?

— На данном стрезке времени хотел бы подышать дамским озоном.

— Что такое? .. Да нет, ну, ерунда, он говорит не то.

— Да, ну конечно не то. Да и что за разговоры.

— Послушайте, но это же ход всех аферистов, просто комедия, вы просто слепцы. А с милейшим Писаревым чистое наказание. Писарев, ты все Берия пишешь?.. Ага, в ЦК...

Писарев вроде даже и не обиделся, просто не обратил на старика Пучкова-Безродного никакого внимания.

До ареста Писарев был работником ЦККа, работником партийного контроля. Знаю я о нем, как и все, очень мало; а то, что детское его туловище не разгибается потому, что его били в Лефортовской тюрьме, — не подлежит сомнению. Когда его спрашивают про Лефортово, он смотрит на всех не то с презрением, не то с удивлением и ничего не говорит.

— Не беспокойся, будь здоров, это один из тех, кто первым подал пример бдительности, — заметил старик Пучков.

Немощный и согбенный Писарев не произносит ни звука и как-будто чего-то ждет. Дождался! Разрешается писать жалобы и заявления. Многие стали писать, во у Писарева к этому какое-то особенное пристрастие.

— Ведь вот какое несчастье с человеком! — сочувственно кивают в его сторону, а он чуть ли не с самого подъема и до той минуты, когда отбирают чернила и ручки, ухитряется на маленьком листочке бумаги убористым почерком настрочить длиннейшее послание.

Станный человек! Для всех он как чужой и для него все чужие. За исключением Лешки Руднева.

Скловился он к Лешке и говорит ему:

— Напишешь, покажешь мне. Только не отчаивайся, можно через ЦК партии потребовать.

А Лешка Руднев губы кусает в ответ. И вроде нет у него сил осмыслить, что говорит ему Писарев — совершенно потерянный, все рушится, все валится, просто не в своей тарелке, не в своей форме. И форма энкаведистская франтоватая, вроде не на него сшита, и ноги и руки неустойчивы, и весь раскис, и как бы без тела, а лицо какое-то надутое, нелепое. И только глаза вевероятно голубые. И нет ничего удивительного в том, что он в камере самое что ни на есть жалкое существо. Довелось-таки и ему кое-что испытать. И даже, может быть, больше, чем другим. В какой-то роковой для него час по изменчивости судьбы, бывший дипкурьер, а потом начальник архангельского погран. НКВД, Руднев попадает как враг народа в Лефортовскую тюрьму. Все то, что рассказал он мне о Лефортово, способно было придавить и не такого, как он.

Да, опять о Лефортово — в связи с Лешкой Рудневым.

Его вели на допрос, а у него было что-то таксе, что он ничего не видел, ничего не замечал. Тоже ведь допрашивал. Но это совсем не то, что тебя самого начнут допрашивать.

В кабинете, опершись на подоконник, спинсй к оробевшему Лешке Рудневу стоял следователь. И вот, когда он повернулся, Лешка увидел вдруг своего самого лучшего друга, с которым они в Харбин дипкурьерамие ездили.

— Вот, Лешка, видишь, как мы встретились!

— Вижу, Володя!

— Ты постой, я тебе сейчас все объясню: ну, буквально две-три фразы подпишешь, ну, это явнс... ну, ты же знаешь, если не будешь подписывать, то я должен буду тебя бить... Лешенька, друг, ну войди в мое положение.

Впервые тоска сжала Лешку, и как в сон — ничего уже дальше не соображал, а только между ударами Володьки звучало в самое ухо: „Лешенька, друг,

ну, что же ты?“ И снова хлестал обезумело и даже по губам задел, и из губ окровавленных вырвалось, что Сталину жаловаться будет. А Володька на это выговаривал: „Ты учти, Лешенька, не сегодня-завтра Николай Иванович Ежов будет Генеральным секретарем“.

И вот теперь, когда всем стало очевидно, что Ежова убрали, Писарев настойчиво советует Лешке Рудневу написать заявление ва имя Берия.

— А что я сейчас подумал: напиши ты, что он тебе о Ежове говорил.

— Боюсь.

— Нельзя бояться.

— Почему нельзя?

— Да потому что нельзя.

Бывший работник ЦКК, опытный работник партконтроля очень хорошо знал, что потребно, что необходимо для решения очередных задач. Во всяком случае Лешка Руднев засел писать заявление.

Я лежу у стола, как раз у того места, где все гишут заявления и где перекидываются разными вопросами.

Бывший зам. начальника разведупра РККа* Василий Васильевич Давыдов тоже произнес суждение о совершившихся переменах в руководстве НКВД. „Мавр, — говорит, — сделал свое дело, мавр может уйти“.

Василий Васильевич Давыдов, или просто Вася Давыдов, как его зовут здесь друзья с воли, это тот самый круглолицый под машинку остриженный военный, которому пиперский рабочий Егор Алексеевич толковал о Ковтюхе. При всей разговорчивости Давыдов себе на уме: шутит, взгляд открытый, но вдруг кто спросит о чем посерьезнее, сразу приостановится и опять переведет на шутку:

— Слушай, милый, иди лучше чайку попей, или давай лучше о другом.

Про Писарева и Лешку Руднева он сказал:

— У меня нехватает терпения на таких дураков.

Я заметил, что в одно и то же время Давыдов и открытый рубаха-парень и вне досягаемости открытого разговора, с ясным сознанием своей бывшей должности зам. начальника разведывательного управления Красной Армии.

А вот нарком труда Цихон — это тип совсем простой. Вбегает с прогулки в камеру, начинает что-то делать: носки штопать или что-нибудь другое. Видимо сам когда-то все делал.

По какому поводу он пострадал, мне неизвестно, но знаю, что будучи председателем ЦК Союза строителей, Цихон обратился с ходатайством в ЦИК о

*) РККа — Рабоче-Крестьянская Красная Армия.

награждении Сталина орденом Ленина. По крайней мере, когда теперь его кто-нибудь спрашивает об этом, он улыбаясь отвечает:

— Так что же теперь делать?

Вот именно, что же теперь делать? И в этом вопросительном ответе нет решительно ничего удивительного.

Так что же теперь делать?

Unsere Revolution machen wir bestimmt ganz anders.

Это соратник Тельмана Карл Поддубецкий выражает свое твердое уверение, что они, немцы, когда у них будет революция, все будут делать по-другому. Морской разведчик Свириденко поглядел на него и задумался. Крепкого закала сухонький Поддубецкий. Ведь этот человек с маленьким тельцем был одним из руководителей немецкой компартии. А между тем, после всего случившегося, в тридцать третьем году, его положение оказалось совершенно критическим. В то время многие отрекались от своего прошлого. Он же остался верен себе и с преданными ему друзьями перешел на нелегальное положение. В тридцать седьмом году его вызвали в Москву, и как только он прибыл, арестовали и тотчас же отвезли в Лефортово.

За первые четыре месяца буквально ни дня покоя: въедались в душу с переводчиком, били сапогами в грудь. Распростертый на полу, избиваемый до потери сознания, он так и не дал показаний. Чтобы сломить его волю, нанесли значительно более сильный удар: схватили жену. Женщина не выдержала пыток и стала лжесвидетельницей. Но и этот удар не сломил маленького суховатого Поддубецкого. Сожмет губы, строго смотрит на всех.

Человек он одинокий, кажется самый одинокий из всей камеры, и при всем том, может быть, самый сильный.

— Как вам нравится Карл Поддубецкий? — спросил меня доктор Домье. Этот вопрос меня немного озадачил, я не знал даже, что отвечать. Уж хотел было сказать, что больше всех мне нравится сам доктор Домье, да не решился сказать ему об этом. Между тем он мне действительно нравится больше всех. До чего он мягок к людям. Как он волновался, когда у Леонида Михайловича был грипп, голова закружилась, и старик упал. Не знаю уж, кто бы другой имел терпение не спать неделю подряд, дежуря около больного старика. А сколько беспокойства было проявлено по поводу петлюровского офицера Дзундзы. У Дзундзы открылись раны на ногах, и некоторое время кровоточили.

Какие, казалось, чувства могут быть у еврея, воспитанного в хедере, к петлюровскому погромщику. Оказывается, могут быть: „петлюровец сам по себе, а его кровоточащие раны сами по себе“.

— Ну, и чорт с ним, с Дзундзой!

— Ну как же чорт с ним?

Доктор Домье всегда произносит смягчающее слово, а так он не со всеми разговорчив.

Я знаю о его нежелании принимать участие в каких-либо междуведомственных, как он их называет, прениях. Впрочем он не выражает при этом никакой иронии, напротив, предельно доброжелателен.

— Видите, — говорит он в таких случаях, — они сами не понимают себя, и часто цитируют то, что ниже их, а сами они глубже; по разговорам можно узнать, что они не пошлые... А если узнать их в личной жизни, то может даже и святые. А? Или не так? Вы думаете, что наоборот?

— Нет, нет, я вас понимаю.

— Ну вот, — продолжает он, задумчиво посмотрев на меня, — злых чтоб людей, не так уж много, глупых больше. Все дело сводится к тому, чтобы судить человека в благоприятную сторону. Или не так?

— Тоже думаю, что так.

— А я бы сказал, что даже можно и больше сказать: человек обязан любить ближнего своего и воздавать ему честь.

Внимательно слушаю доктора и киваю головой.

— Мы люди, — говорит доктор, — и дома у нас вторая, а может быть и первая жизнь. Говорят, что в человеке такое заложено, что всегда в мире будет подлость, а я бы сказал, что человек подобно библейскому Иову рождается на страдание, как искры, чтобы устремиться вверх.

— Как же вы-то жили? — спрашиваю я у доктора.

— Да так вот именно и жил. Положение очень трудное и морально тяжелое.

— Что же из этого следует?

— Что из этого следует? — удивленно переспросил он меня. И взглянув в мои глаза с непонятной улыбкой, сказал довольно мягко:

— Из этого следует, что человек должен аккуратно каждый день анализировать свои поступки, чтобы исправить их. Интересно заметить, что такие люди называются в книге Зогар людьми расчета. Не правда ли, странно?

— Почему?

— Да... Так!

— Как это понять?

— Да так вот именно и понимать. То есть каждую ночь перед сном необходимо размышлять о том, что сделал худого за истекший день и тотчас же искренне каяться в этом. Это мера не единственно возможная, но точная.

Беседуя таким образом, доктор продолжал тоном врача, который рассказывает историю интересной болезни:

— На мой взгляд, самое страшное в жизни — ложь! При отсутствии искренности человек как бы блуждает в потьмах и не может не спотыкаться. Так или иначе, но в последние годы я многое оживил в памяти. Я часто говорю себе, что в этой атмосфере не исцелиться иначе, как при помощи действий противоположного свойства. Например, человеку, одержимому горячкой, необходимо давать прохладительные напитки, и наоборот. Без этих аллопатических средств больной не может выздороветь.

Слушая доктора, я продолжаю в своем воображении искать ключ к причинам всего происходящего.

Как-то раз Леонид Михайлович говорил с доктором.

— Читаю, доктор, книгу, — сказал он.

— А какую?

— „Слепых“ Метерлинка... Да ведь тут, доктор, пьеса... то и я говорю, что слепой телесно может видеть и знать больше нас, зрячих. Не Бог знает какие мудрости... И задонский затворник Георгий Машурин писал о любви к ближнему: „не лицу любите ли вы меня, а смотрю себя: люблю ли я вас... люблю, хотя и не вижу“.

— А я бы сказал, как говорится в Талмуде, что если любовь зависит от вещи, то есть, если она корыстна, то как только исчезает вещь, исчезает и любовь, а если любовь не зависит от вещи, то она никогда не исчезает.

— Да, да, безусловно... И ведь вот, кажется, и яснее сказать невозможно.

Доктор согласно кивнул головой: — Мне тоже кажется, что должно быть так. Но я понимаю эти слова в таком смысле: такое животное ослепление, ибо вся беда в том, что если любовь зависит от вещи, то никакого верха нет, а низ непобедим. Это, собственно говоря, когда люди доходят до безумия, до идиотизма... *И вдобавок весь мир в руках идиотов, а мы вечно удивляемся.* Или это не так?

— Да-а, вопиющие нелепости.

— По естественной психологии все самолюбивцы, и уж это должно вызывать беспокойство. Меня всегда удручало, что любовь, которая должна существовать, ее нету. Когда вы молоды, есть надежда — и вы замираете. Но подходит старость, морщится лицо и ничего нет: ни привязанности, ничего.

— Да-а, то-то вот и есть, что внешнее обманчиво.

— Но когда человек, который хочет быть человеком, этот человек будет им? (Говоря это, доктор бросил взгляд вокруг себя).

— Господи, безусловно, — подтвердил Леонид Михайлович.

— Может быть и да, — улыбнулся доктор. — Но только мне кажется, что не может быть так, если душа не властна в себе. Вот что удивительно: человек хочет быть человеком, а впечатление такое, что он где-то в самом начале замкнулся.

— Да-да, — закивал Леонид Михайлович.

— Собрали нас сюда не случайно, — прошептал кто-то около меня.

— Между прочим хочу сказать, что среди большинства слов нужно произносить такие слова, чтобы можно было на них опереться, — отозвался доктор Домье.

Я лежу и мне кажется, что теперь я могу думать так и только так, как доктор. — Случай исключительный, — сказал доктор, продолжая разговор с Леонидом Михайловичем.

— Да, да, — одобрительно затряс головой Леонид Михайлович, — так и я сужу . . . ведь нет голоса церкви, слова пастыря . . . Боже мой, ведь диву даешься, до чего же довели . . . до чего довели . . . Ну, да уж Бог с ними! — Бог-то может быть и с ними (в больших навывкате глазах доктора засверкали смешинки), да они-то с Богом ли?

Доктор усмехнулся и опасливо посмотрел вокруг себя: „Заметьте следующее: люди мыслят по очень простой схеме, а всю сложную структуру перерождения могут понять только очень острые умы. Вот я не знаю, может и острого ума недостаточно, потому что, кто же знает, что у другого на душе. Вы правильно сказали, что визшнее обманчиво. Вот он, мир предметов. При общении с миром, — реализм простых вещей: все больше от тела, от причинности и все меньше от сознания, кто ты есть.

— Так, так, — затряс головой Леонид Михайлович, — да вот оно что!

— Да, кажется это так, — подтвердил доктор. — В наших книгах сказано, что гораздо больше наказывается грешник, находящийся в обществе благочестивых, чем грешник, находящийся в обществе беззаконников. Но у меня такое впечатление, что я вас утомил?

— Господи, что вы говорите? . . . ведь я этим живу.

— Все-таки надо признать, — усмехнулся опять доктор, — что свежего воздуха явно не хватает. Я немного прогуляюсь, — заявил он громким голосом. Затем он поднялся и направился в сторону двери. А когда возвратился от двери, посмотрел на меня как-то очень хорошо.

Мне еще не удавалось с ним говорить так, как бы хотелось, но он мне становится очень близким.

Лежа на нарах, мысленно продолжаю разговор с доктором, но мало-помалу клонит ко сну. И вдруг ясно слышу: „Вставайте!“

Встряхиваюсь, поднимаюсь на ноги. Меня торопят к окошечку. Наскоро одеваюсь и — к двери.

— Фамилия? . . имя? отчество? . . Собирайтесь с вещами!

— С вещами? — я вздрогнул даже. А меня уже просят запомнить домашний адрес, зайти к родным.

— Эге! Нечего и гадать . . . в такой час только на свободу! . . .

— Скажи, не забудешь? . . угол Зубовской и Кропоткина . . . только, пожалуйста, не забудь . . . Понимаешь?

— Да, я все понимаю . . .

Тут распахнулась дверь. В камеру вошел Добряк. В руках у него какая-то бумажка. Он смущенно откашлялся:

— Прослушайте приказ начальника тюрьмы.

Оглянулся вдруг, развернул бумажку, стал читать.

— Но это же неправда!

За громкие разговоры в камере, за грубое поведение во время следствия меня водворяют в карцер сроком на пять суток.

Добряк посмотрел и чуть-чуть слышно произнес:

— Как-нибудь потерпите.

Наклонив голову, осторожно мягкой походкой он вышел в коридор.

Хочется задержаться. Именно в этот момент почувствовал вдруг, что пятьдесят четвертая камера стала мне чем-то очень родным. Я привык к этим людям, они стали мне близкими.

Из полуоткрытой двери не спускает с меня глаз коридорный надзиратель:

— Живо, выходи!

Вскинув пальто на плечи, с узелком в руках выхожу в коридор. В следующую минуту меня уже ведут по лабиринту коридоров. Вот перешагнул порог, повернули направо и стали спускаться вниз по лестнице. Лестница ведет в тускло освещенную глубину. Карцер в подвале. Понизу, из глубины холод такой, сплошной камень. Внизу на свету надзиратель и надзирательница в тулупах и зимних шапках. Надзиратель в овчинном полушубке наваливается на меня:

— Скидывай пиджак!

Отобрал пальто, узелок, пиджак. Оставил в одной верхней рубашке. Ощупал с ног до головы и распахнул дверь камеры. Пахнуло холодом. Лампочка чуть

светится. Посередине какая-то тумба каменная. В стенной пробоине закрытая на замок вагонная койка. В углу параша. Ни сесть, ни лечь, если не считать низкой каменной тумбы, на которую, вероятно, опускают койку. Каменные стены, потолок, пол. От холода никуда не укроешься. Прислонился к стене. Над дверью вентилятор вертится, пронизывает холодом. И от стены зябко. Зазнобило, а прикрыться нечем. Постучал в дверь, попросил напиться теплой воды.

— Сиди смирно, придет время — получишь!

Перемогая озноб, силюсь взять себя в руки. Пустился в прогулку по крохотному промежутку от двери до стены: три шага туда, три шага обратно; заложив руки за спину, отсчитываю шаги.

Вот так: раз, два, три; раз, два, три. Ну и вот! . .

Что вот? . . .

Мысль отрывается от этого места, убегает за пределы крохотного промежутка: — Надо воспользоваться советом Пучкова-Безродного и не терять точку опоры.

Точку опоры? Не терять?

Очень тяжело, когда нет опоры.

Леонид Михайлович понимает это по-своему: „Души грешников, — говорит он, — скитаются в мире и не знают, на что опереться. Люди ненавидят, отворачиваются от церкви. Жизнь же души требует, единства духовного. Увы, дорогой Леонид Михайлович, церковь не поможет заполнить внутреннюю пустоту.

А главное, что человек пустоты боится, хочет ее заполнить.

Одно я заметил: трудно бывает сосредоточиться людям, когда они вместе. И это испокон веков.

А мне стало теплее, немного согрелся.

Вот так шагаешь, становится теплее.

Какой-то шорох. Подхожу к двери, прислушиваюсь.

Ни шороха, ни звука.

Сейчас бы стакан водки — совсем бы тепло было. . . или, на худой конец, — стакан чаю с лимоном. Пальцы, как ледяшки. Надо двигаться.

Двигаюсь из угла в угол, всем телом вперед. Руки за спиной как можно крепче сцепил. От каждого последующего шага становится теплее, можно заодно многое продумать. Шагая из угла в угол, можно обо многом с самим собой поговорить.

Это очень хорошо! Ну и вот:

Доктор Домье говорит, что душа человека — это его кровь. Очень мудро. А

Маяковский говорил, что людям душу вытащит, растопчет, чтоб большая! — и окровавленную даст, как знамя. Это уже то, о чем теперь можно только тосковать.

А кругом смеялись:

„Он же какой-то странный!“

И он не раз и сам про себя так говорил:

— Пройду
любовищу мою волоча,
в какой нэчи,
бредовой,
недужной
какими Голиафами я зачат —
такой большой
и такой нснужный.

И еще говорил о великом неумении применяться к обстоятельствам:

— Любовь!
Только в моем
воспаленном
мозгу была ты!
Глупой комедии остановите ход!
Смотрите —
Срываю игрушки-латы
я,
Величайший Дон-Кихот.

Что же еще оставалось ему сказать?

— Послушайте.
Ведь, если звезды зажигают —
Значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтоб они были?

Они есть: весь свод нэба, бесконечный и неисчерпаемый, усыпан мириадами звезд, и это ВСЕ. ВСЕ-ЧТО-ЕСТЬ. И высказано до неожиданности по-настоящему. Что значит, по-настоящему или не по-настоящему?

„Это значит, что мир не так вульгарен, что есть любовь, что помимо любви ничего нету“. Это твердая почва, на которой стоит доктор. И вот Маяковский почти теми же словами:

— Нежные!

Вы любовь на скрипки ложите.

Любовь на литавры ложит грубый.

А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы.

Ведь это что-то сверхнастоящее, ведь только так можно проникнуть в душу мира. И я это теперь начинаю понимать. Вот делаю шаг — один метр, и еще шаг — еще метр, и одна секунда и другая секунда . . . И это все сливается в новую линию или в новый промежуток времени.

Но губы, одни сплошные губы? При чем же тут линия или промежуток времени, когда одни сплошные губы?

Что же это такое, мимо чего невозможно пройти и что иначе не может быть выражено?

Снова приближаюсь к двери, прислушиваюсь. Тихо. Снова три шага и еще три шага . . . А пальцы вроде согрелись. Еще раз прислушиваюсь: ни звука. Уселся на тумбу, но злой вентилятор сразу согнал. В одной вязаной шелковой рубашке, если не двигаться, можно впрах иззябнуть. Снова двигаюсь по тому же самому маршруту: от двери и обратно к двери. Мне что-то нужно непременно додумать, мозговая работа очень помогает. Я теперь каждое услышанное умное слово берегу. Вот Сергей Иванович, добрый человек, любит декартову мудрость повторять: *Cogito ergo sum*.

„Я мыслю, следовательно, я существую“.

А можно и так: я существую, поскольку я мыслю. Моя мысль есть то, о чем я стараюсь возможно яснее отдать себе отчет. У меня есть мозг и есть мысли, но уж, конечно, никакой анализ не может показать, что мозг имеет мысли. И сколько не ищи, хоть в самый мощный микроскоп смотри, ничего не выразишь — одни волокна и сосуды.

Но ведь не спроста, в самом деле, чувство восторга или холод отчаяния? . . . Как же их через микроскоп высмотреть?

По Декарту всякая страсть соответствует определенному рефлексу. Спектральным анализом определили химический состав солнца. А как узреть человеческую душу, ту бездну, до которой дальше, чем до солнца?

Где тот человек, который осмелится сказать о себе всю правду?

Где в муках ночей рожденное слово, величием равное Богу?

Не знаю насколько прав доктор, но по Талмуду выходит так: затем и создан Адам единым, чтобы показать тебе, что губящий одну душу считается как бы погубившим весь мир, а сберегший одну душу считается как бы сберегшим целый мир.

И вот каждый и обязан сказать: ради меня создан мир!

Странно, почему это так?

Вот я шагаю из угла в угол, мороз по спине, прошу немного теплой воды напиться, а мне в ответ: „сиди смирно, придет время — получишь“.

И все бы ничего, да вот думаю даже о каком-то счастье.

О каком таком счастье? О всеобщем. Да, но ведь тождество возможно только с самим собой. Во всяком случае ни с чем другим ничто не может быть сполна тождественно.

Но это уже от философии! Ну, так что? Здесь, конечно, только одна сторона, а меня интересует и другая. Между тем и другая как на ладони. Ведь я не существую сам по себе. Да, именно так. Вот доктор и говорит, что мы с самого начала имели и то и другое, и только наша во времени текущая речь заставляет нас сначала называть одно, а затем другое.

Конечно, теперь с учебником Ингулова делать нечего. Нужна какая-то другая возможность обобщения, примерно в диапазоне от Адама и до наших дней. И это вроде перевода с языка прозы на язык поэзии. Доктор рассказывал, что в Талмуде есть такие слова: „сзади и спереди Ты образовал меня“. А это значит, что Адам и Ева созданы были вместе. И это в смысле того, что минута была такая, точно вся жизнь как одно сердце. И дано было Человеку наречь всякую душу живую. И назвал он зверей Хая, а потом каждому дал особое имя; и назвал он птиц офот, а затем дал каждой особое имя; и ощутил он супружескую добродетель голубей и аистов, и материнскую любовь кур, и кротость ланей; и верность и преданность собак; и доброту тюленей и дельфинов; и трудолюбие пчел и муравьев.

И это как бы расширение пульсации вне себя, ибо как для неба и земли потребовались „творения“ и „созидания“, так и для человека потребны были „творения“ и „созидания“.

И вдруг случилось что-то такое, только что-то очень не так:

Адам возроптал, что у всех созданий есть пара, а у него нет пары. Какая-то роковая неизбежность сковывает душу, поглощает все живое . . .

И мера мира как-то само собой уже не любовь доверия, а бесконечно узкое поле около собственного носа. Да, конечно, человек имеет лишь то, что видят глаза его. А глаза его видят так мало!

И вот жалкое чувство сомнения и недоверия, и завистливое желание обличать, уравнивать, обезличить, обескровить, обесцветить. Адам делает себе деревянное возвышение, чтобы сидеть на нем и судить обо всем вкривь и вкось.

А ведь дело-то в том, что очень много горя, и вот мы предполагаем и мы ищем: Пучков-Безродный, Рафес, Сергей Иванович, Кондратьев, доктор, я, — мы ищем, ищем, мы все предполагаем, а Бог, как говорится, располагает. И все эти низости, все это накопление низостей очень трудно объяснить, надо видеть общее.

Вот доктор обронил такую мысль: Дух творит человека, который вырывает себя из естественного течения жизни. Но как мыслить жизнь? Что это такое? Доктор говорит, что это круг, которого центр везде, и окружность — нигде, сама живая жизнь, единая и тождественная себе самой, — идеальная реальность, где все одухотворено, едино, неделимо, искренне и несомненно, где все предвиденс, и свобода дана, и Мир судится добром, а не по поступкам.

В ней и Маяковский узнал свою тему:

— Я,
 златоустейший,
 чье каждое слово
 душу новородит,
 именинит тело,
 говорю вам:
 мельчайшая пылинка живого
 ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Не теперь это было, и поэта того уже нет. Но он есть, как сама живая жизнь.

— До того
 что кажется —
 вот только с этой рифмой развяжись,
и вбежишь
 по строчке
 в изумительную жизнь.

В изумительно-странную и довольно опасную жизнь.

Шагаю от двери и вновь к ней. Вот остановился и опять прислушиваюсь.

Тихо. На пороге постоял и опять — к стене и опять — в обрат: туда и обратно. Хоть и разогрелся, однако зябко.

Да нет, это еще не трагедия. Конечно, хочется, чтобы потеплее было, но ни в коем случае нельзя падать духом. Эти, так сказать, переживания, это еще не все.

А я знать все хочу. Хочу из всего этого сделать свой собственный вывод. Но что тут сказать: жизнь — странная вещь, трудно что-нибудь сконструировать.

Но чего же мы тогда ищем тут?

Счастья своего ищем!

Ну, новость какую открыл! Ну, так что?

Разве недостаточно в наше время искренних слов?

Чего тут думать? Неужели это непонятно, что любовь — вот самое главное, главное всех наших дел. И это не я сформулировал. Это испокон веков на разные лады одни и те же слова.

А человек, как говорит доктор, где-то в самом начале замкнулся и уподобился животному.

Горюй не горюй, а добывай хлеб в поте лица своего. А ведь мог творить и созидать как угодно. Одним словом, так странно, что как ни рассуждай, а очень удивительно.

Да . . . конечно . . . есть желание быть на высоте, не соответствовать высоте, а быть на высоте. А дальше что же?

А дальше:

— Городов вавилонские башни,
возгордись, возносим снова,
а Бог
города на пашни
рушит,
мешая слово.

Распадаются башни, и каждый получает намек на живсе.

А все-таки, где же премудрость обретается, и где место разума?

— Ну-ка, подойдите сюда!

Я так развлекся с самим собой, что даже и не заметил, как отворилось дверное окошечко.

— Вот паек на сутки . . . держите еще кружку воды.

Стою с пайкой хлеба в одной руке и с кружкой воды в другой.

Окошечко захлопнулось.

Перво-наперво проглотил два глотка воды. Покопался на кусочек черного хлеба грамм в триста. Он так мал, что меня тянет проглотить его тут же. Проглотил с теплой водичкой в один миг — и все тут. И сразу же с пустой кружкой к двери.

Стук по окошечку: „Благодарю покорно“.

Фраза вышла страшно бессмысленной. Бред какой-то!

Ну что же: три шага туда, три шага обратно.

Каждый новый шаг становится тверже: раз, два, три . . .

И раз, два, три . . . Надо двигаться в определенном ритме.

Подумать только, сколько путаного!

Спросишь, бывало, дядю Мару о старом житье-бытье.

— Легко, — говорит, — было служить в царское время, но трудно было получить работу. У моего начальника, его высокопревосходительства, происхождения было от рюриковичей, но форменный идиот, вырожденец. Изумительно все же, что на таком он делал очарование все. Когда теперь придешь к наркому, он не предлагает сесть. А как началось в семнадцатом году с лесами? Губили их до невозможности . . . Полное бесхозяйство! . . .

А потом было распоряжение ЦК орабочить аппарат.

Последнее время, когда приходишь на службу, кого сегодня нет?

Через три дня назначен другой . . . и того нет . . . прихожу в кабинет, чувствую, что человек нервничает, мешает ложечкой чай . . .

На другой день и его нет. И так далее и тому подобное.

Но я знаю и царское время. Царь терпеть не мог талантливых людей. Может один процент был государственных людей. Граф Витте очень интересный человек был. Я еще помню его, очень интересный человек!

Ну, вот и у дяди Мары такая история путаная!

И у Маяковского об этом, но совсем по другому, резким криком вырывается:

— Нет людей,
Понимаете
крик тысячедневных мук?
Душа не хочет немая идти,
а сказать кому?

Вот именно: „а сказать кому?“

Теперь, когда я хожу в этом карцере и говорю с самим собой, мне уже ясно, что сказать некому.

Да, конечно, все лучшее для меня существовало постольку, поскольку это имело отношение к Небесам.

И-вовсе не по собственной неуверенности. Это было преодоление быта. Можно иметь целый ряд ступеней. Вот только это ясно, что было. Но что будет и что возможно в будущем, в это верилось, этим жил, но это так неясно.

Еще выше над всем этим самое хрупкое и уязвимое: мечты, похожие на влюбленность. И дело, значит, не в расчетах и планах, и не в людях, повсюду ищущих выгоды, а в том, что смог так ощутительно пережить совсем иное. Ведь это что-то сверхнастоящее, точно вся жизнь как одно сердце. А что касается холода, уж и не знаю, что делать? . . . Градусов десять, не меньше. Минута — другая, час — другой, а впереди еще четыре дня и четыре ночи. Тут надо как-то о холоде не думать и все время двигаться, потому что не двигаясь совсем пропадешь.

Вот я отсчитываю шаги . . . три к двери и три от двери . . . три и еще раз три — девять, и еще три — двенадцать, и еще три — пятнадцать . . . всемнадцать . . . двадцать один . . . двадцать четыре . . . двадцать семь . . . тридцать . . . сто шагов . . . двести . . . Минута — другая . . . час — другой . . . и еще час . . . и еще . . . и еще . . .

Внезапно распахнулась дверь.

На пороге надзиратель стоит молча. Не проговорив ни слова, он шагает к стенке, где койка, закрытая на запор. Он поворачивает запор и опускает койку на каменную тумбу.

— Ложитесь спать . . . отбой! — твердо говорит он и быстро выходит, захлопнув за собой дверь.

Я подхожу к двери, притрагиваюсь к ней рукой: загадываю, чтобы стало теплее. Вот до каких суеверных глупостей можно дойти, когда тебе неважно. Я присел на койку, весь съежился, подобрал под себя ноги. Озноб до боли в висках.

Что же делать дальше?

Если не шевелиться, не продержишься долго. Нужно каким-то образом продержаться. . . А ведь было такое время — теперь кажется, вроде его и не было — я мог вытянуться под теплым одеялом в мягкой постели. Ну что мне думать о том, что было раньше и вот так ерзать на одном месте и сгибаться в три погибели!

Вдруг отворяется дверь. На пороге надзиратель.

— Вы не спите?

— Не сплю.

— Закрою вентилятор, спите!

Губы его растянулись в улыбку. Я не в состоянии сказать ему что-нибудь в знак благодарности. Я весь дрожу от холода: и губы дрожат, и подбородок дрожит.

Он смотрит на меня, и взгляд у него такой забстливый. Я ничего не понимаю. Он молча выходит и прикрывает дверь.

Вдруг дохнуло теплом. Это даже как-то невероятно! Неужели это от того, что он закрыл вентилятор?

И, правда, стало теплее. Повидимому, я так привык к холоду, что самый пустяк действует на меня положительно. Поворачиваюсь с боку на бок, думаю о том, как бы поскорее уснуть. Холодноватс, конечно, но спать можно.

Тишина. Теперь уже вся тюрьма спит, а я не могу уснуть: озябшие воги как льдом обложило, и все тело ноет от озноба, а что того еще хуже, голод подкрался — ужасно есть хочется . . . Перемогая себя, подложил всю под ногу. Минута — другая . . . Не минута и не другая, а вроде вечности: целые сутки, а впереди еще четверс суток.

Ведь подумать только — четверо суток!

Поворачиваюсь лицом к стене, прижимаюсь к койке, вытягиваю нсги, потягиваю голову. В глазах черно. Какой-то черный туман перед глазами. Я еще плотнее прижимаюсь к койке.

Вот так! Туда — к стенке, ища опоры, туда — в черноту, в ночь . . .

Не то наяву, не то во сне я повис в воздухе. Мне кажется это неестественным: я очень привязан к земле, у меня это связано с определенным фном, местом; и самое для меня труднее, это когда пространство не зависит ни от каких переживаний, настроений.

Теперь я вижу луну и множество синих, желтых и красных пятен.

Запрокинул голову и вдруг слышу голос:

— Подъем! . . . Вставайте!

Очнулся. Протираю глаза.

Стоит кто-то в тулупе. Стоит надзиратель и кажется еще более доброжелательным, чем при моем отходе ко сну.

Я приподнимаюсь на ноги. Он закрывает койку и выходит.

У меня тяжелая голова, все тело бслит и ноет, а ноги и руки совсем заксченели.

Ну, ладно, я крепок и здоров, я привыкаю; и вот как раз то, о чем говорил Пучков-Безродный: не надо точку опоры терять.

Опять же, если не двигаться, холоду не вытерпеть, а я ведь легок на ноги, отсчитываю три шага вперед и три шага назад.

То же все, что в прошлое утро: снова согревает ходьба и разговор с самим собой. Двинулся отсчитывать сотни шагов вперед и сотни шагов назад.

Проходит час, другой, третий, удаляются минуты друг от друга и объединяются друг с другом в одно целое. Но вдруг, уже под вечер, нахмуренный надзиратель выводит меня из камеры, и тут же два разводящих, схватив под руки, срываются с места и буквально бегом — к лестнице и по ступенькам наверх. Не понимаю, куда они так торопятся?

На лестничной площадке двери вправо и влево. Повернули вправо. Дохнуло теплотой тюремного коридора!

Распахнулась дверь в другой коридор. Зашагали по ковровым дорожкам второго коридора, миновали третий, повернули на лестницу и по ступенькам — вниз, на первый этаж, и снова по коридорам. Но странно: все еще продолжается дрожь во всем теле и даже как-будто сильнее, чем в карцере.

Но что это? Вестибюль следственного корпуса. Разводящие посторонились, пропуская меня в дверь кабинета.

И вот я на том месте, где в последний раз меня допрашивал Котелков.

Сейчас за этим столом сидит человек лет сорока с одной шпалой в нашивке. Он смотрит на меня внимательно: кивнул на стул, приглашает сесть к столу напротив себя. Я сажусь к столу и вопросительно смотрю на него.

Худой, с обыкновенным, ничего не говорящим лицом, он зорко приглядывается ко мне.

— Вам холодно?

— Я из карцера.

Мне показалось, что в его лице проглянуло сочувствие.

Но что за странность? Меня до того трясет, что даже странно как-то. А он, не говоря более ни слова, порывисто три раза нажимает на кнопку звонка. Через минуту открылась дверь. В дверях женщина в белом приколоте на груди переднике.

— Я вас прошу, Вера, два стакана чаю с лимоном и две порции сосисок.

Она, кивнув головой, вышла; через несколько минут с подносом в руках проплыла к столу и так же бесшумно исчезла.

Он привстал и придвинул ко мне две тарелки и два стакана чаю.

— Вот сосиски и чай, грейтесь.

— Нет, спасибо, не буду . . .

А у самого внутри засосало, заныло: пахнет горячими сосисками и чаем с лимоном.

— Да нет, спасибо, не буду.

Он улыбнулся:

— Не бойтесь, я не собираюсь вас допрашивать.

Кажется он и вправду без всякого расчета. Да, да, это вполне возможно.

Минуту - две я еще не решаюсь, а все-таки взял вилку (Бог знает, сколько не держал ее в руках). Рука дрожит. Уперся ногами в стол. Проглотил одну сосиску, отхлебнул из стакана чай, а самому совестно перед ним. Но он кажется ничего, поймет мое состояние.

Посмотрел на него: он отвернулся и глядит в темное окно.

Отхлебывая горячий чай, я очень быстро управился с сосисками и снова посмотрел на него. Он теперь, откинувшись на спинку кресла, курит папиросу. Озноб у меня прошел, руки перестали дрожать.

Немного опустив голову, он сказал:

— Я сожалею, но должен отправить вас обратно в карцер. Вы согрелись?

— Да, спасибо, согрелся. — Я непроизвольно улыбнулся.

Он нажал кнопку звонка. Распахнулась дверь. На него вопросительно смотрит разводящий.

— Уведите! — тихо произносит он, не поднимая глаз на разводящего.

Опять в карцере.

Прихватил холод, и еще сильнее зазнобило.

Сьежился на жестком ложе. Сгибаю как можно крепче ноги, пригнул голову. Только под утро, перед самым подъемом, слипаются глаза.

— Подъем!

Поднимаюсь. Пытаюсь согреться, но холодина адская. Шагнул к двери и зашагал в знакомом направлении. Сначала медленно, постепенно все быстрее.

Память отодвигается к дням детства, и вот сткрывается то, что опять забудется, а может быть исчезнет навсегда. Память вырезает куски очень отрывисто. Вот виден приморский бульвар в Баку, и я в кустах карабкаюсь и скребусь, как кошка. Сквозь кустарник вижу бабу Любу — папину маму. Очень весело. Да, терпеть от смеха уже нет никакой возможности.

А накануне пасхальный седер был: большой стол с белоснежной скатертью, а на столе бесчисленное количество вкусных вещей: маца, фаршированная рыба, сладкий хрен. А пстом в Москве. Настоящая зима. И тут со мной другая бабушка — мамина мама. И уже под вечер молчок — читает мне „Маленького лорда Фаунтлероя“. А вот еще: в день моего бармицво, когда мне минуло тринадцать лет, подарила мне золотую пластинку с десятью заповедями. И много об этом разговору у нас с ней было. И все это было прекрасно, и сейчас просто немыслимо.

И вот опять отбой, и опять прихватывает холод, и опять крепче сгибаю ноги и пригибаю голову. И снова подъем, и снова передвигаю ноги, отсчитываю шаги, сотни шагов туда и назад.

И это самое что есть простое в данном положении.

Вот уже и последние шаги пятых суток, а кажется, что и конца этому не будет. Уцепился за дверь, а она все не открывается. Это, конечно, минуты, но как долго они тянутся.

Наконец, шагаю коридорами к камере пятьдесят четыре; и пока подвели именно к ней, и покуда жду у закрытых дверей, сердце сильно бьется. Раскрылась дверь, и в следующий миг все закружилось. Островский, путаясь под ногами, что-то взхлеб шепчет мне. У стола на первом плане Пучков-Безродный. Видимо, тоже рад моему возвращению. Доктор Домье выглядывает из своего угла улыбаясь. Подтолкнул по-дружески локтем бывший зам. начальника Разведупра РККА Василий Васильевич Давыдов . . .

— Слушай, ты что, постной пищей питался? Что-то худой ты?

Отозвались и другие:

— Съешьте колбаски!

— Возьмите лук!

— Колбасу ешь!

— Дай ему кружку, ну, а где сахар?

Нетерпеливость моих сокамерников так велика, что они тут же усаживают меня за стол чай пить. И не успеваю я ни с кем еще толком слова сказать, а уже каждый наперекрест предлагает свои припасы. Маленький Островский, суется, схватил меня за руку:

— Я вам скажу по секрету: этот старый политкаторжанин житья мне не давал . . . Что вам сказать? Ну, то есть ужасно, все здесь за вас очень переживали.

Инженер Бочаров, наклонив голову, с улыбкой смотрит на Островского:

— О чем шепчете, дорогой мой?

— Мало ли о чем! — суется Островский, многозначительно поглядывая на меня. Староста камеры просит не говорить громко, на что Островский понимающе кивает головой. Инженер Бочаров, кладя руку на мое колено, осведомляется, не хочу ли я после холодного карцера поспать в теплой камере. Сейчас, когда карцер позади, наступило блаженное состояние: чувствую, что все кругом как родные. Да, вот она жизнь-то какая! Она идет какими-то кусками. Вот в этот кусок было так, а в этот так.

И выпадает человеку счастье: после такого холода — в такую теплынь: сиди в одной нижней рубашке и ни гу-гу.

Ну, и от гула от этого одно наслаждение: прижались друг к другу плечо в плечо — в тесноте, да не в обиде. И даже запах табачища пьянит и дурманит. А тут еще новости политические, разговоры о текущих событиях:

— Рассказывайте, товарищ адвокат, какие у вас там дела? — спрашивают у присевшего в углу стола пухленького человека, который, очевидно, еще вчера гулял по Москве. Пухленький юрист улыбается и разводит руками:

— Что я могу знать? Да нет, дело не в дурном настроении. Я просто ничего не знаю, кроме газет . . . кстати, тут один случай из газеты, да, интересный случай . . . я в нем усматриваю кое-что новое. Год тому назад в Якутск прибыли на работу молодые техники связи Степанов и Тимофеев; Степанова назначили директором якутского телеграфа, Тимофеева — его заместителем. Это еще очень молодые люди, приехали в новое место, телеграф застали в очень плохом состоянии, энергично взялись за дело, тут бы, кажется, оценить их рвение, а их арестовывают и обвиняют в контрреволюционном саботаже. В мае этого года они предстали перед Верховным судом Якутской АССР, и, хотя свидетельские показания обрисовали их деятельность с положительной стороны, суд приговорил Степанова и Тимофеева к семи годам лишения свободы каждого.

— К чему вы это говорите? Мы думали услышать что-нибудь новенькое.

— Простите, я сейчас не про то говорю. Очевидно, руководствуясь какими-то другими директивами, уголовная коллегия Верховсуда РСФСР, рассмотрев дело Степанова и Тимофеева, все нашла в их действиях контрреволюционных признаков. Они были из-под стражи освобождены, а мера наказания была определена в один год исправительно-трудовых работ.

— Вот как! Ты смотри, красота какая!

— Право, не знаю. Я воспринимал без критики, как что-то новое. Но вернемся к делу. В первом случае — отменяется приговор Якутского Верховсуда. Во втором — по протесту самого Вышинского дело вновь рассматривается в уголовно-судебной коллегии Верховсуда СССР. Вышинский указал на отсутствие в действиях обвиняемых уголовно-наказуемого преступления и поставил вопрос об отмене всех предыдущих решений и прекращении дела. Верховсуд СССР протест прокурора удовлетворил.

— Ты смотри, красота какая!

— Да-а, в самом деле, резон в этом есть!

Сейчас поди, каждому лезет в голову, что резон в этом есть. Я не сомневаюсь, что и усмехающийся Пучков-Безродный, который стучит сейчас папиросой о свой кожаный портсигар, на что-то все же надеется. И уж конечно тот пожилой мужчина с красными щеками, который очевидно живет ощущениями

своего дома, откуда его взяли несколько дней назад, тоже чего-то ждет. И немудрено, что каждый за что-то цепляется, чего-то ждет, на что-то безумно надеется. Может быть и маленькому Островскому кажется, что резон в этом есть. Мне думается, что и старика Леонида Михайловича мучает тоска по дому, но трудно себе даже представить, чтобы он стал за что-то цепляться. Вот он сидит у стола, пьет чай вприкуску с кусочком сахара и сочувственным добрым взглядом глядит вокруг себя.

Разве не очевидно всем (а мне хотелось бы, чтобы такое ощущение у всех было), что нет никакого резона, а есть ложь и обман? Впрочем, каждый жаждет до жизни, до своей жизни. Сейчас, например, не то же самое, что в холодном карцере. Мне действительно очень хорошо.

Но ведь слово „хорошо“ или „плохо“ ограниченный смысл имеет, а я рад уж и тому, что тепло, поэтому можно понизить пафос и не судить никого вкось и вкривь.

Теперь следовало бы мне поспать, и я так и сделаю. С узелком в руках забираюсь на свое место. Складываю в головы пиджак и расстилаю пальто. Здесь, в углу на нарах, ждет меня доктор Домье. Удивительно все же, но как-то „все равно“, что подумает обо мне доктор; усталость берет свое: спать, спать, теперь только спать!

— Ничего, ничего, спите! Я засыпаю, а он бережно накрывает меня чьим-то пальто.

В ушах гул, какие-то провалы, но вот различаются фразы откуда-то из глубины: „Основы мы не собираемся изменять . . . не нам это надо углубить с учетом тех пожеланий, которые нам предъявляет жизнь . . .“ „Причем мы старались, когда планировали, именно и подчинить это . . .“

„Мы осуществили ряд мероприятий, а сейчас мы готовимся к массовому мероприятию . . . мы думаем осуществить это мероприятие . . . По мере сил мы тоже стараемся включиться к эту работу. Мы наметили целый ряд точек. Я думаю, что мы в рабочем порядке обдумаем и решим. Тут много организационных моментов: надо перевозить людей . . . ну, какие-то доработки . . .“

„А?“ „Что?“ „Ничего!“ И уж не слышно фразеологии.

Смутные очертания чего-то. Никого и ничего.

Среди безмолвия вдруг гул голосов и какая-то немая, невидимыми линиями начертанная картина. Но из смутной картины вырезаются отдельные куски. Узнаю наш дом. А если подойти к парадной двери? Подхожу. Но дверь не открывается. Оборачиваюсь.

Эге! Откуда вдруг набралось столько людей?

Стоят, поглядывают на меня, словно ждут чего-то. Я прижимаюсь к двери. Чего же они ждут? Угрюмые, злые...

Еще сильнее прижимаюсь к двери.

Вдруг, будто сквозь сон, слышу чей-то голос проговорил мне в ухо: „Так не придумаешь, так не напишешь, так не расскажешь!“

Как-то сразу очнулся от сна.

Доктор Домье наклонился ко мне:

— У вас скверный вид . . . я бы вам посоветовал не ходить на прогулку, потому что при такой погоде после карцера можно крепко заболеть.

Он берет меня за руку, щупает мой пульс:

— Знаете, что я вам скажу? Мевя тревожит ваше состояние. Вы прежде пообедайте, потом возьмите книгу и отдохайте.

Но я почему-то не совсем понимаю, о чем он говорит. В сознании только то, что сию минуту видел и слышал. Сон откуда-то извне. Смысл дан как бы случайно, как самое что ни на есть элементарное. Не самообман ли это?— Никто так не придумает, не напишет, не расскажет!

А в общем надо последовать совету доктора и выбрать книгу для чтения.

— Что вы говорите, доктор? Джинса? . . . А!!! Если так, то пожалуй.

— Одну минутку, вот возьмите.

Раскрываю книгу и тотчас погружаюсь в чтение. Начинаю читать „Движение миров“ Джинса.

Страница за страницей забавнейших предположений о происхождении миров. Посреди этих четырех стен, в камерной тесноте разворачиваются миллиарды солнечно-планетных систем. Просто невысказимо себе представить, что в Млечном пути не менее миллиарда таких систем. Какова же судьба этих бесчисленных планет? Но об этом не хочу, потому что чувствую, что не то. Само по себе может и интересно, но для чего мне все это сейчас — не знаю?

— Ну, будя, вставайте, братцы, обедать! — встрепенулся невдалеке от меня Василий Васильевич Давыдов.

В предвестии еды камера засуетилась: кто садится с ложкой в руках, свесив ноги с нар, кто за столом устраивается.

— Товарищ Бочаров, ваша очередь, становитесь на раздачу!

Инженер Бочаров, потирая руки, подошел к столу, подвязался вместе фартука полотенцем:

— Блям, блям, всем, всем по черпаку пахучей шелюмки.

Это, конечно, минуты такие важные — хлебаем горячий рыбный навар, а вот еще гречневая каша-размазня на второе блюдо.

И вдруг от дверей чей-то голос: „вызывают кто на „Г““.

И тут Давыдов с беспокойством повторяет:

— Слушай, вызывают тебя, больше на „Г“ никого нету.

Куда денешься? Лихорадочно-торопливо подхожу к двери.

Из полуоткрытой фрамуги увидел бычью голову „свиньи в ермолке“

— Соберитесь слегка.

Щелкнул засов, распахнулась дверь.

— Готовы?

— Да, готов.

На ходу надеваю пиджак, выхожу в коридор. В коридоре ждут разводящие.

Поодаль, вытянув по-бычьей голову, „свинья в ермолке“ глядит на меня. Коридорный, приседая, обшарил меня с ног до головы. Тотчас разводящие подхватили под руки и повели куда-то по лабиринту знакомых коридоров, а далее через какие-то незнакомые переходы по лестнице на верхний этаж. Быстрыми шагами прошли мимо дверей кабинетов, остановились у боковой двери, обитой клеенкой.

Один из разводящих приоткрыл дверь и тут же отворил, пропуская меня в кабинет.

В маленьком кабинете за столом, у закрытого шторам окна, тот самый человек, который вызвал из карцера. Он здоровается, указывает на стул напротив себя. Я сел. Он задумчиво посмотрел. Я почему-то вдруг почувствовал облегчение и даже что-то вроде надежды. Он посмотрел на меня еще раз и закурил.

— Хотите?

— Нет, спасибо, я не курю.

— Ну, я полагаю, вы расскажете про себя.

У меня сердце екнуло: не знаю, что ему отвечать.

— Да что говорить, — моя жизнь как на ладони.

Он отложил в пепельницу папиросу.

— Хорошо! Тогда я буду задавать вам вопросы.

Он наклонился над сброшюрованной папкой, перелистал несколько страниц, на чем-то задержался и вдруг, подняв голову, посмотрел мне в глаза.

— Кто такой Осип Максимович? — спросил он строго.

Я невольно вздрогнул.

— А-а! Ну, понятно, это Серафим . . . Ведь все дело в том, что когда на улице с приятелем в разговоре громко произнесешь имя Сталина, почти каждый — ухо в твою сторону. Так и не очень-то это приятно. А вот скажешь вместо этого Осип Максимович и никто не оглядывается. И я не знаю, что же в том предосудительного?

Я замолчал, а он снова наклонил голову, снова перелистывает страницы сброшюрованной папки. Не залезешь к нему в душу, но если уж я рассчитываю, что он не такой как Котелков, чего ж я так смущаюсь от его вопросов?

Вст он приподнял голову и снова посмотрел на меня.

Лицо у него усталое, веки припухшие, но по его усталому лицу трудно что-либо понять.

— Вы, кажется, с Григорием Евсеевичем Зиновьевым встречались?— вдруг спросил он.

— Да зачем же это? Ведь это чушь какая-то! Какие встречи? Подумайте только: Ида Лашевич — директор Еврейского театра . . . Ида большой друг моей тетки. В один прекрасный день мы с теткой идем в театр. Там в антракте встречаем Иду с Зиновьевым. Я узнаю его в лицо. Ну, а кто же его не знал по портретам? Ида из элементарной вежливости представляет его нам. Я рассказываю об этом моему приятелю Серафиму, а он, очевидно, вам. Вот и все. Но ведь нельзя так запросто делать из людей арестантов.

— Я не собираюсь делать из вас врага, я только выполняю свои обязанности. Проговорив эти слова, он нагибается к столу и перелистывает страницу сброшюрованной папки. Вдруг он опять поднимает голову:

— Ну вот по Мейерхольду, скажем. Не скрою, читал ваше письмо . . . Ну, что вы скажете про Мейерхольда?

— Как-то странно, что читали письмо. Оно ведь по другому адресу посылалось.

— Да, верно, но в настоящее время ваше письмо приобщено к делу, поэтому я прошу очень серьезно, точно определить в нескольких словах ваше отношение к Мейерхольду.

— Я не знаю. Мне как-то трудно, да и совестно. И что тут определять? Мейерхольд — это все равно, как скачок через огромную пропасть в какой-то несравненно более реальный мир. Таким же был и Маяковский. Я отношусь к этому с трепетом, хотя, конечно, сейчас мне ясно, что не нужно было писать письма.

— Как же это у вас вышло с письмом? — неожиданно мягко спросил он. Я ему хочу что-то еще объяснить, во увы, не могу сказать больше ни слова.

— Да это все так! — сказал он грустно, — правда не очень конкретно все сказанное вами, но тем не менее хорошие есть люди . . . Но вот кое-что не так. Он вдруг вытянул руку и дотронулся до звонка:

— На этом я заканчиваю и передаю вас другому следователю.

Тут же он нажал кнопку звонка. „Уведите!“ — сказал он разводящему, появившемуся на пороге распахнувшейся двери. Разводящий крепко взял меня под руку и вывел из кабинета в коридор.

Невольно думается, что может быть все это происходит во сне, в очень глубоком сне, где имеются свои особые законы, какая-то своя, мне непонятная логика.

Все можно представить так, как хочется. Ну вот здесь — так!

А там?

А там домик среди сосняка, почти у самого Рублевского водохранилища; достаток у Серафима с Лидочкой не так велик, а мы с Валькой Бертельсоном пока что не женаты, на углу Смоленского в угловом гастрономе накупим всякой всячины и — в Рублево, к семейному очажку. Выпивши по стакану, разговор по душам заводим — и в холодок, к речной влаге. Сидим на берегу, подходит к нам такой старичок. И вот поежился. Серафим ему водочки, а старичок божественный такой — с горлышка пьет. Старичок стходит, и мы слышим благочестивый тенорок: „Свят Господь Бог наш“. А Серафим своим басом затягивает песни разные. А потом опять в дом возвращаемся и прямо без воды, без всего выпиваем из троих пол-литра водки, а Серафим в курсе буквально всех сббятий и нет у него этой рабфаковской ограниченности: ренановские этюды по истории религии наизусть шпарит и много стихов и всякого другого знает. Валька от него в необыкновенном восторге: говорил, что он умеет вкусно рассказывать.

А теперь, ополоумел он, что ли? Ведь кто же его за язык тянул? Не нашел лучшего выхода? А может даже вот так: вызывали и грозили как сыну протодьякона. грозили выслать, посадить, с Лидочкой разлучить. А теперь вот блаженствует с верной подружкой своей. Да-а! А до чего он своим видом одним любил показать, что он Человек. Огромный такой, в косоворотке, редкие волосы приглаживает, слова басом нараспев выговаривает. А рядом Лидочка. Он большой такой, широкий, а она, словно коза с тонкой шеей, с тонкими длинными ногами; волосы как шелк, одной шпилькой в пучок собраны, а глаза добрые, без всякого лукавства, с исключительной чистотой на тебя смотрят. И вообразить себе не мог, сначала до меня даже и не дошло, почему она ногой меня под столом задевала, а потом в центре, на Театральной, не выпуская моей руки, потянула в парк. Женщина может убить играючи — очаровательность вместе с авантюризмом. („А я к тому, чтобы ты меня поцеловал“).

„А Серафим? Он же муж твой?“

„Серафим одно, а ты другсе — одно другого не исключает“.

Ничего не понимаю: милая, скромная и как разнуздалась — откровенней прид...ть трудно — без всяких рука к низу тянется.

Я с ней тоже без всяких:

„Ну, будет. Я по-хамски с тобой, но я не хочу. Мне кажется, что так не надо“.

„А я хочу!“

Что было отвечать на отдельные бессвязные слова и на что-то уж очень перешедшее в привычку — что-то довольно противное?

„Что это ты . . . ай, хватит . . . это же все враки!“

„Что это я? . . . А кто его знает, что это я?“

Теперь вот кое-что знаю, а тогда Серафимом такие песни пелись:

„Вечерний звон . . . вечерний звон . . . как много дум наводит он.“

Но почему я был так уверен в нем, когда видел, что говорит человек и врет, и все это ложь?

А кто его знает, почему.

Но надо подумать хорошенько, может быть у него не было другого выхода и может быть ему хуже сейчас, чем мне.

„Я“ — это то, что любит, — сказал мне доктор Домье, — а если вы хотите знать больше, — сказал он мне, — то больше думайте про себя и будьте медлительным в своих суждениях“.

Если хотите знать больше? . . .

Что же я знаю и что могу узнать?

Я — это я, а они — это они, а есть еще многое другое.

„Если подумать, — сказал доктор, — то окажется, что девятая заповедь вытекает из седьмой“:

„Не свидетельствуй ложно против другого человека“ — это девятая заповедь.

„Не будь распутным“ — это седьмая заповедь.

Но тут надо внести ясность: говорить можно прежде всего о том, что неотделимо от действительности. Она женщина, которая очень тяжелую юность прожила. Он ведь на ней женился относительно недавно, а заботы умножились: ребенок, с бытом не наладилось. А что нужно мужчине и женщине?

Женщине, такой как она, нужны красивые вещи.

Когда мы встретились с ней у метро в Охотном ряду, она мне ноги свои показывала: „Правда, очень некрасивые чулки?“

„Нет, почему? . . . хорошо!“

Я предложил ей пойти в кафе „Спорт“ — есть блины со сметаной.

„Ты прав — это тоже одна из прелестей жизни, и мой желудок не простил бы моей дурной голове.“

Там в кафе я пожурил ее за изломы и выверты и тогда еще почему-то в шутку сравнил с Шарлоттой Кордэ. Потом она взяла меня под руку и мы вышли.

„Ах, боже мой, пожить бы немножко в радости . . . А ты растяпа — печешься о Серафиме, а он вас, евреев, не очень-то любит“.

Женщина может убить играючи — очаровательность вместе с авантюризмом. Впрочем, какая это пустяковина все была, и ничего, конечно, представить нельзя было. Все это переживалось как-то не так. Но теперь надо охватить всю проблему целиком.

Я гляжу на темное окно с решеткой и, как всякий смертный, просто-напросто не все еще понимаю.

— А вы совсем, доктор, уверены, что это так?

Он улыбается и проводит рукой по голове:

— Ну, я бы сказал так: я еврей, а еврею Бог дал возможность, более, чем кому-либо другому, почувствовать несправедливое, глупое и нечеловеческое. И я даже склонен думать, что именно за это нас так не любят.

— Но скажите мне свое мнение о человеке, про которого я вам рассказывал.

— Ну, здесь, видимо, отражение общих событий. Может быть это только их легкомыслие, но оно не есть их характер, а оно скорее всего — незнание.

— Незнание? . . . Серафима не назовешь неучем . . . знаток Ренана и мир понимает многообразно.

— Возможно, что знаток, но человек только тогда имеет несчастье слышать, если он сам раньше согрешил. А кроме того всю сложную структуру перерождения могут понять только очень острые умы, и я бы даже сказал, что нам и сейчас картина не ясна — неуловимый план творения выше того, что может объять наш разум.

Слушаю доктора со все возрастающим интересом. Конечно, этот треп Серафима об Осипе Максимовиче и Зиновьеве возмутил меня очень, но характерно, что доктор, как всегда, имеет в виду еще и многое другое.

— Ну . . . словом . . . не убийца, не трус подлежит распознаванию, а способность быть ими! — говорит он мне. — И если судить о поступках других людей, то надо быть медлительным в своих суждениях.

Да, надо! Но я пока даже не верю в самого себя. И то, что мир судится не по поступкам — это тоже не совсем до конца еще понимаю.

А вот он, очевидно, верит в самого себя, и это должно быть то же самое, что верить в Бога.

— Не то же ли это самое? — спрашиваю я доктора.

Он смотрит на меня с улыбкой:

— Да, если хотите, это так.

Удивительно, как у него все складывается в целое.

И вот уже и о Каиновом жертвоприношении он вспомнил.

— О, это не только место из Библии! Начать с того, что в Книге Книг рассмотрение духа познается в его живом развитии и осуществлении.

Да, он прав: тут все вызывает большое количество вопросов, никак раздумая суммировать для себя все сказанное им.

Да, это очевидно было так и это так и есть:

Землепашец Каин приносит в дар Богу плоды земли, а его брат, пастух Авель, так же приносит в дар Богу лучших своих овец. Приняв дар Авеля, на поднесение Каина Бог даже не смотрит. А ведь Каин вроде со всей душой. Как же это так?

А это можно понять так: человек может сделать завесу из дел своих. Самое искреннее с виду чувство, самые активные жесты могут быть всекорыстной позой. Да, человек может сделать завесу из дел своих, но вещи, скрытые от людей, не скрыты от Бога — они обнажены перед Ним во всей своей наготе. Ничего не скажешь — очень смело и решительно сыграл Каин: принес в дар Богу плоды земли с желанием сейчас, эту минуту быть на высоте . . . Не соответствовать высоте, а быть на высоте. Какая уж тут высота! Он видите ли обижен! Чем обижен?

Ему показалось слишком обидным, что не его жертва принята.

Его бил озноб, зависть тянула его вниз.

Высота — это когда ты в равновесии с целым. Высота ведь не по ту сторону тебя, а внутри, она обладает кровной прочностью.

А он — убийца брата своего, стоит и смотрит на все непонимающими глазами.

„Где брат твой Авель?“

„Не знаю, разве я сторож брату моему?“

Он был человек с гонором и зависть его расшатала. Вот и сейчас, в теперешнем облике петлюровца Дзундзы, выпучился он на меня.

И почему он так мгновенно опускает глаза? Точно и в самом деле в этой ненависти есть что-то мистическое. „А он вас, евреев, не очень-то любит“.

Вот я гляжу на него и как бы оживает все, о чем в книжке читал и о чем мама с бабушкой рассказывали. А ведь многие говорили, будто пустяки все это и не стоит теперь этому значения придавать. А когда я с Серафимом об этом говорил, он басил театральные:

„Братец ты мой, мы все одно — большая свобода — нет ни эллина, ни иудея.“

Но я давно подозревал, что далеко это не так. Я давно это понял, когда был совсем еще маленький, когда меня били ранцем по голове и весь мой класс смеялся: „Да это же жид! . . . Жид пархатый номер пятый . . . жид! . . . жид! . . . Сколько время? . . . Два еврея — третий жид на веревочке дрожит“. Да, раз и навсегда, я — жид! И это надо было себе усвоить, чтобы не быть

чем-то другим. И я это раз и навсегда усвоил. И у меня в роду никто от этого никогда не отказывался.

„Ну нет, братец ты мой, нет в тебе ничего такого специфически еврейского“.
„Да к чему ты это, Серафим?“

Ему видимо казалось, что может быть мне это очень приятно.

— Ваш Серафим, — сказал мне доктор Домье, — он не сволочь. Вы не правы, он по-моему гораздо хуже. Я не столь оптимистичен по этому вопросу. Но вы не очень радуйтесь вашему праву решать и тщательно обдумайте свои выводы. Вот я не знаю, но есть объективные причины, прежде всего психологические, но это только психологические причины, но есть более глубокие причины — это так глубоко, причем очень стихийно. Я считаю, что очень трудно определить и ответить на этот вопрос—это дело времени. Нужно больше думать о самых простых вещах. Собственно говоря, что вы можете иметь против Серафима? Таких примеров, когда люди доходят до идиотизма, можно найти в изобилии. Люди, к сожалению, умеют уходить от ответственности, людям не хватает простодушия, связи с миром у них очень скудные. Я бы сказал так: все, что соединено с почвой, рассматривается как почва, а здесь люди без Бога и национальности, нет понятия дома, отца, матери, нет понятия семейной ответственности. Евреи тоже бывают разные, но совершенно ясно, почему наши ничем неистребимые черты до такой степени всех так раздражают. Люди мыслят по очень простой схеме, и что произойдет, это трудно предвидеть, — все было не так розово. Откровенно говоря, я ужасно боюсь более страшных вещей. Это вопрос настолько важный, настолько существенный, что все мы должны быть к этому готовы. Говорите что хотите, но когда от вас потребуют отречения от своей веры и преклонения перед идолами, вы должны пожертвовать жизнью для сохранения своего человеческого достоинства. Или не так? Да, должно быть только так! И это было так же ясно, когда дядя Мара об этом рассказывал:

— Да, все было, все было! Дед твой был скромный человек. Тогда ставить „Садко“ на провинциальной сцене трудно было. Дедушка переписывался с Римским-Корсаковым. Николай Андреевич требовал, чтобы чистота стиля была.

Когда дедушка ставил „Дубровского“, дружил с Направником. А потом он был приглашен в Большой Театр. Когда он бывал в Москве, останавливался у Шаляпина.

В Москве наместником тогда был великий князь Сергей Александрович. Он же ведал Императорским театром. Ему представили бумагу с фамилией и национальностью деда. Он и написал: если крестится, не возражаю. Но дедушка

на это не согласился. Он возвратился в Киев в очень нервном и расстроенном состоянии. Семья осталась без средств, без права жительства. Мы переехали в Боярку. Наступила зима, дедушка слег, Володя поступил в коммерческую гимназию. А дедушка недолго мучился — пришел доктор, пощупал пульс, а дедушка мертвый. Если бы ему тогда помогли, он возможно и жил бы еще. Если говорить откровенно, Чайковский мог бы ему помочь. Он был тогда в Америке, и твой дедушка написал ему туда. Он же был первым постановщиком „Пиковой дамы“, и Чайковский дирижировал в Киеве этим спектаклем. Он очень уважал дедушку, но он не знал, что дедушка еврей, и он ответил уже из Виши. В Америку ехать он не советовал, потому что делать в Америке русскому человеку нечего. Ну что ж — куда деваться? — ведь было такое время — по 50 копеек на человека давали, чтобы бить жидов и интеллигентов. Все жалели дедушку — громадная толпа шла за гробом. А когда проезжали мимо хоральной синагоги, были открыты двери, зажгли все люстры и кантор пел. А на балкон городского театра вышел оркестр, хор и артисты. Мы с Оскаром Грузенбергом, двоюродным братом дедушки, твою бабушку под руки вели. Вот бабушка твоя без образования, а пользовалась у всех большим уважением. Это она нас всех вырастила. И бабушка ведь всегда говорила: „Я не жалею прожитой жизни.“

Еще бы жалеть! Ведь она такая добрая. И не от образования, а просто так, по природе своей. Соберутся у нас люди, спорят, и столько слов, и не очень в них дело; а она слушает, закрывая глаза, и вот из всего теперь ясно, что тоска у нее была за маму, за меня — ведь тоска невероятная. И вопросительный взгляд, когда я ей читал Маяковского. И это было ей тоже близко. Да, разве могло быть иначе, когда:

Сегодня
шкафом
на сердце лежат
тяжелое слово „жид“ . . .
Это слово
шипело
над вузовцем Райхелем,
царских дней
подымая пыльцу,
когда
„христиане“-вузовцы

ахали
грязной калошей
„жида“
по лицу.
Это слово
слесарню
набило доверха
в день,
когда деловито и чинно
чуть не насмерть
„жиденка“ Бейраха
загоняла
пьяная мастеровщина.
Поэт н пивной
кого-то „жидом“
честит
под бутылочный звон
за то, что
ругала
бездарный том
фамилия
с окончанием „зон“.
Это слово
слюнявит
коммунист недочищенный
губами,
будто скользкие
миски,
разгоняя
тучи
начальственной
тощищи
последним
еврейским
анекдотом подхалимским.

Вот нацупалась нить. И, в сущности, чему же удивляться—ведь Маяковский был для подавляющего большинства прсто неповятен, ведь в нем было слиш-

ком много для них человеческого, ведь он был не как все. Ну, а если так, то чего же от них требовать? Но это какой-то ужас — этот Серафим, который ренановские этюды по истории религии шпарит. И теперь—сегодня я уже не могу себе его представить иначе как рядом с Дзундзой, браво выставляющим грудь вперед. Но люди ведь по-разному к жизни относятся. Я вот знал Абрама Яковлевича. Жена у него умерла—он год пластом лежал. А вот у Касаткиных гробик с мальчиком, а они тут же едят, пьют водку. — „Что вы делаете?“ „А что? Другой родится!“ А Митя Пятунин? Это же была такая ужасная сцена. Это был тихий ужас. Он считал, что его мать не жилец на этом свете, что она скоро умрет. И тогда он объявил ей, что надо выписаться. Он приведет бабу и будет хозяином. И он привел. В общем начался скандал, который чуть не кончился побоищем. Боже мой, он же родной сын, и он был рад ее похоронить. Но это какой-то ужас, и Самуилу Львовичу жалко стало старуху, чтобы они ее угробили. А Митя заявил Самуилу Львовичу, что он ни жида по-русски не понимает.

Да, это все так. И совсем не новый вопрос для меня. Это и прежде я знал, когда Львова тараторила на кухне: „Неужели Христос был еврей?“ И как она ошарашена была этим, просто потрясена была.

А взять хотя бы Додика! Когда такой Додик на старости лет, имея трех детей, обнаружил, что жена его антисемитка!

— Что вы скажете на это? — решил я спросить у Тамаркина, которого третьего дня посадили в нашу камеру. Мое обращение к Тамаркину вызвано потребностью обмеваться мыслями с бывшим зав. отделом культуры ЦК партии.

— Ленин, конечно, не того хотел,—начал он тихо и ровно.—В каких масштабах Ленин мог организовать революцию? Отношение его к людям? — Он считал, что не какие-нибудь особенные люди будут строить социализм. Для нас тогда достаточно было, чтобы они были преданы революции. Он дорожил людьми как достоянием республики.

Доктор Домье тоже слушает Тамаркина. Он зорко присматривается к нему. И я хочу знать, что сейчас чувствует Тамаркин.

Ну, а те вон у окна — Писарев и Лешка Руднев?

Лешка теперь прибодрился — живет надеждами на лучшее. Внял совету Писарева и написал на имя Бери, сообщил о своем бывшем друге Володьке, сообщил, как ему этот подлец Володька о Ежове рассказывал. Все пока осталось попрежнему, с той лишь разницей, что и Володька сидит теперь под замком. Доктор Домье продолжает всматриваться в Тамаркина, а Тамаркин недовольно косится на меня. Очевидно он думает, что я плохо его слушаю.

За ужином Тамаркин потчует подсевших к столу Рафеса и Островского политическими новостями. По его мнению демократии Европы окончательно обанкротились, а у Германии нет реальных сил напасть на Советский Союз.

На 10 марта назначен XVIII съезд партии, от решения которого зависит многое. В камерном театре идет „Очная ставка“ братьев Тур, а в начале воября внезапно скончался на служебном посту военный комиссар авто-бронетанкового управления РККА Павел Сергеевич Аллилуев. Между тем, за последнее время телеграф приносит известия о погромах, которые прокатились по всей Германии. Фашисты громят еврейские жилища, убивают людей, загоняют их в лес, заточают в концентрационные лагеря, а новый чехословацкий премьер, касаясь вопроса о еврейском меньшинстве, заявил, что „пришедшие к нам чужие элементы не могут рассчитывать на длительное благополучие. Уменьшение границ нашего государства заставляет нас обратить внимание на то, чтобы они искали себе место в государствах, имеющих более широкие хозяйственные возможности“.

— Что? — спросил едва слышно доктор, глядя на Тамаркина с беспокойством.

— Ничего, — отвечает своим ровным голосом Тамаркин.

— Ну что можно сказать? Но это ужас какой-то!

Маленький Островский беспокойно оглядывается по сторонам. Он осторожно трогает за плечо Рафеса. Рафес, сидя на скамье у стола, покачивается вперед и назад.

Наклонился к Тамаркину немощно согбенный Писарев и просит, чтобы Тамаркин еще раз сказал ему про XVIII съезд. Тамаркин видимо все читал, за всем следил: он обо всем говорит солидно и ровно.

Я все как-то забываю, что этот еврей работал не то завом, не то замом зава отдела культуры ЦК.

Позади него слышен голос старика Пучкова:

— Мы прекрасно знаем его! — говорит он доктору.

— Я знаю вас, товарищ Тамаркин, как прекрасного пропагандиста!

Островский, Рафес и доктор сидят как намагнетизированные, Рафес, не выдержав, закрывает лицо руками. Погодя, он снова открывает лицо, продолжая покачиваться вперед и назад. Тамаркин удивленно смотрит на Рафеса. Он еще раз удивленно-снисходительно взглянул на него и, обернувшись к Писареву, стал толковать с ним о самом для них важном и заветном — о XVIII съезде партии.

„Я“ — это то, что любит.“ — Ну, вот в том то и дело.

А вот Писарев с Тамаркиным, с этой точки зрения, будучи лишены опоры, сваливаются в какое-то неразличимое единство. Неужели единство это только

красивое слово? Но ведь теперь совершенно ясно, что на самом деле ничего красивого здесь нет. Ведь неспроста же вон тот пожилой с красными щеками с первого знакомства сказал мне, что не знает, куда себя девать. „Знаете, какая жизнь путаная. Кто я? — обыкновенный обыватель . . . А иной момент кажется, что есть какие-то мысли: вся жизнь идет так, что мы портим жизнь друг другу. Все борются. — Боролись с самодержавием — победили, боролись с кулаками — победили, теперь друг с другом боремся — завидуем друг другу. У нас райком на углу — взял себе наш дом, и мы сидим в пыли и в копоти в коммуналке“.

— А я вот по-рабочему так думаю, — говорит питерский рабочий Егор Алексеевич, — я думаю, что все дело в пережитках прошлого. Ты пойми, ведь факт налицо.

И Разумник Васильевич говорит, что факт действительно налицо: надо было им под разными предлогами и лозунгами уничтожить как можно больше людей, залить страну кровью и тогда, с одной стороны, можно управлять терроризированным населением, а с другой — эти предлоги и лозунги вызывают колоссальный энтузиазм у того же населения.

„Хорошо! Бодро! Никакого упадничества — ничего не роняет, на этом можно размяться, — как говорил товарищ Победоносиков в „Бане“ Маяковского. Очень хорошо! Всё есть! Вы только введите сюда еще самокритику, таким символическим образом, теперь это очень своевременно. Поставьте куда-нибудь в сторонку столик, и пусть себе статьи пишет, пока вы здесь своим делом занимаетесь“.

Одним словом, как ни рассуждай, а очень уж удивительно.

Впечатление действительно такое, что человек где-то с самого начала замкнулся, и тянет его из живой жизни в загон к бездушному „единодушию.“

Но ведь, если звезды зажигают —
Значит — это кому-нибудь нужно?
Значит кто-то хочет, чтобы они были?

— Это всем и каждому очень нужно, — говорит доктор, — но избави Бог, чтобы это кому-то вменялось в обязанность по принуждению.

— Но как вы себе мыслите?

— Видите ли, ну прежде всего во всех путях твоих познай Егс, и Он направит тебя: вот такая древнееврейская специфика, которая не терпит суеты и проникает сквозь вещную оболочку к истинно скрытой основе. Была земля, и было небо с бесчисленным множеством звезд, и был Авраам, который смотрел

на небо и считал звезды. Мысль его совпала с мыслью Бога, и от всей души ощутил он, что есть любовь, которая ко многому обязывает. И тогда был испытан он десятью испытаниями и устоял во всех. И нет никакого сомнения, что испытания эти даны были, дабы показать, сколь нелика любовь отца нашего Авраама и как сильно будет на земле семя внука его Якова, устоявшего в вере своей. Я понимаю, что в ваших глазах какой-то круг жизни идет, идет и идет, и вот, все кончается и даже может, как вы странно, и не так—вся наша жизнь будто псу под хвост, поскольку гроб жизни не обладает никакой действительностью. Но дело тут не только в этом противопоставлении. Яков был человеком кротким, живущим в шатрах. Вы скажете, что он как человек в тысячу раз меньше знал, чем мы, а мы все тут все знаем. Но сейчас идет разговор о жизни, а жизнь на любовь опирается. Жизнь Якова продолжается в жизни детей и внуков, в нашей с вами жизни, и вот в этом его бессмертие. Есть какая-то большая истина, которая дала детям Якова опору во всех муках их. Это что-то совершенно простое, некое вместилище общих чувств, где во всей силе проявляются особенности каждого. Я бы даже сказал, что это единственный путь к добру. Вы знаете, какие могут быть стремления: человек норовит подчинить себе все, и прежде всего, своего ближнего. Можно привести пример Иосифа. Чувствуя любовь Якова, он скользил по поверхности, его собственная юная персона не признана еще миром. Характерно, что это его терзает. Снопцы братьев должны встать и поклониться его снопу; солнце, луна и одиннадцать звезд—отец, мать и одиннадцать братьев—должны поклониться ему. Вот так нарушается состояние мира, в котором живет семья. Это очень опасно, с этим нельзя шутить, и братья наказали Иосифа. Может скажут, что это негуманно, а я считаю, что это на мой взгляд не жестоко, а очень правильно, ибо глубоко смирило душу Иосифа и направило его на путь истинный. Так складывается что-то более высокое. Во всяком случае мир должен находиться в живых руках, ибо он не мертв. Должен ли мир погибнуть из-за глупцов? Боже сохрани! Пусть мир идет своим порядком, а глупцы предстанут и получат по заслугам.

— А что же, доктор, будет с нами, что нам делать?

— Я лично считаю, что у вас теперь есть известный опыт. Это не надо понимать буквально, я шире хочу дать ответ. Я вам скажу основные задачи, которые перед нами стоят. Ну, прежде всего — любить людей, что я и делаю, — улыбаясь говорит мне доктор Домье. — Далее: побольше расспрашивать и быть осторожным в словах своих, дабы из них не научиться показывать ложно, как ваш Серафим. Кроме того, любить работу, ненавидеть господство и не искать известности. Это третий и очень важный пункт нашего про-

тивоборства с судьбой. Из него вытекает и четвертый пункт: не делать себе богов литых и не служить маммоне, ибо в час смерти тебя не провожают ни серебро, ни золото, ни драгоценные камни, ни жемчуга, а только Тора и добрые дела. И, наконец, иметь н виду три вещи, чтобы не впасть в грех: знать, что над тобой око видящее и ухо слышащее и что все дела твои записываются в Книгу.

Я внимательно слушаю доктора, но изредка невольно прислушиваюсь к разговору Тамаркина с Писареным.

— Я должен тебе сказать, — говорит Тамаркин Писареву, — в ЦК работать очень тяжело: огромный объем работы. Уровень исторической науки не тот, который был. Параллельно с этим нерешенных вопросов много. Большой вопрос — воспитательная работа, — поистине непочатый край. В этом смысле у нас не было случая, когда бы мы срывались в идеологическом отношении. Но вкратце уже сказать о том хотя бы, что мы далеко не удовлетворительно выполняем эту работу. Здесь все свои, но товарищи не совсем в курсе наших дел. В первую очередь необходимо расследовать выполнение на местах. Борьба за качественные показатели будет определять всю общественную жизнь. В этом заключается наша политическая задача.

— А что, доктор, будет с нами, что нам делать?

— Вы настойчиво требуете ответа, мой дорогой. Все дело времени. Что будет дальше — это время скажет.

Да, прав доктор: впереди еще много всякого, и так вот просто не поставишь „точку“.

Проще всего сказать „крепись!“ . И я это говорю, с тоской посматривая на краснощекого Куликсва, который сегодня почему-то с меня глаз не спускает. А я немного раздражен на него. Куликов тридцать лет на торговых кораблях бороздил моря и океаны и уж, наверное, не такого робкого десятка. Но в этой проклятой тюрьме все иначе. Вот он щекастый, большой такой, лапы здоровые — прямо морской волк, а духу оказывается совсем кроткого. Вчерашний день его на следствие водили. Возвратясь в камеру, старался уверить всех, как ему повезло:

— Но кто ж его знает, вы посмотрите, угостил меня пачкой „Казбека“. Покуда, кажется, все хорошо.

— Чудак вы! Да ведь они на пушку вас взяли, задаром не дают „Казбек“, как вы думаете?

— Ах ты, господи! Если оно так, то очень нехорошо.

— А что такое?

Он растерянно посмотрел на меня:

— Значит, они меня обманули . . . спрашивали, за кого голосовал в Учредительное собрание, сказали им: за кадетов, за первый список голосовал. Небось сами знают, что не я один, четыре с половиной миллиона за кадетов голосовали, и за эсеров с меньшевиками двадцать два миллиона, а девять с чем-то за большевиков. Я никому нехорошего не хотел.

— А вы бы лучше помалкивали там. Кто вас за язык тянул?

Изумляться на Куликова конечно не приходится, но мне с ним почему-то очень нелегко. Мне и с другими сокамерниками с каждым днем становится все тяжелей.

Вот привели в нашу камеру одного человека в энкаведистской габардиновой шубе с цигейковым воротником.

— Кто такой? Откуда?

Из Управления пожарной охраны.

Все обступили его тесным кольцом. И он сначала струхнул очень.

Но как-то так случилось, что запынаясь, сам постепенно во всем открылся, что не пожарник он, а бывший начальник Московского областного НКВД Сорокин.

До него эту должность исполнял Реденс — свояк Сталина. На сестрах Аллилуевых они с хозяином женаты были.

И, несмотря на это, Реденса расстреляли, а Сорокина поставили на его место.

Ах вот оно что, так, так!!! — закивал Разумник Васильевич, — ну и что же у вас там творится?

— Да вроде как само собой шло, — замялся Сорокин, — вынуждены были подчиняться общему ходу вещей.

Напрягая память, стал Сорокин вспоминать свою жизнь.

Вот, например, в одном Московском областном учреждении работал человек. Позвонил Сорокину сам Каганович и предупредил его, что ему, Кагановичу, стало известно, что человека этого незаслуженно обидели и оговорили, что ему грозит тюрьма, и что если на него поступят материалы, чтобы Сорокин прежде, чем заводить дело, со всей тщательностью проверил все. Но, как на грех, на следующий день Сорокин слег в постель и проболел почти две недели. Пока он болел, этот человек был арестован и почти тут же признал себя виновным. И вот уже стоит он перед Сорокиным и перед начальником отделения, который его допрашивал, и на вопрос, не принуждал ли его кто, смотрит Сорокину прямо в глаза и говорит, что никто его не принуждал и что он все обдумал и теперь чистосердечно рассказывает в своих преступлениях.

А вчера Сорокин был в камере собашника на Лубянке и там он встретил Николая Галактионовича Николаева-Жюрида.

— Какого Жюрида?

— Да вот того, что до прихода Берия был начальником особого отдела НКВД СССР. Вероятно, товарищи, не всякий здесь знает, кто такой Николаев-Жюрид. Он ведь в тени держался.

Сорокин счел нужным сообщить нам кое-что о Николае Галактионовиче Николаеве-Жюриде. По слухам, Николаев-Жюрид служил в Охранном отделении и был для преемственности переведен оттуда на работу в Чека.

Осведомленность, ориентировка, опыт — это вещи немаловажные в борьбе с эксплуататорами рабочего класса. При этом Сорокин счел нужным упомянуть слова Ленина о том, что социализм необходимо было строить немедленно, сейчас же, из того материала, который нам оставил капитализм со вчера на сегодня, теперь же, а не из тех людей, которые в парниках будут приготовлены. Затем, одно за другим проводимые Жюридом дела сделали его одним из главных руководителей „своего дела“.

Оказывается, что этот самый Николаев-Жюрид особенно энергично проявил свое искусство в организации процессов Зиновьева и Каменева, Пятакова и Радека. Но день на день не приходится, час на час не выпадает, в первый же день прихода Берии к власти Жюрид был схвачен, арестован и обвинен в измене родине. Тогда-то, в Сухановской тюрьме, куда его отправили, начались такие кошмары, от которых уже и ему теперь некуда было деться. Время было — он в Особом отделе Первой Конной работал, затем в центре. Он держал в руках все нити, а тут, по прибытии в Суханово, плетью его били.

— Алло! Слушайте, а что это за Сухановская тюрьма?

— По Брянской дороге, в Суханово, в бывшем монастыре, деловито отвечает Сорокин и добавляет шепотом: у Лаврентия Павловича замешано круто. Вот . . . Знаю от Николая Галактионовича . . . да, от него, что у Берия в данный момент вовсе не похоже на то, что было. Знаете, вроде испанской инквизиции: пластинки к вискам прикладывают и стучат молоточками, а то в паху еще . . .

Но вот заканчивается день. Отбой.

У меня опять слипаются глаза и плывет все вокруг: и широкое простодушное лицо Сорокина, и вытянутое желтое личико остроносенького Сергея Ивановича, и под взъерошенными бровями прячущиеся маленькие блестящие глаза Пучкова-Безродного, и многие другие, прижатые друг к другу лица фантастически преданных „делу революции“ людей.